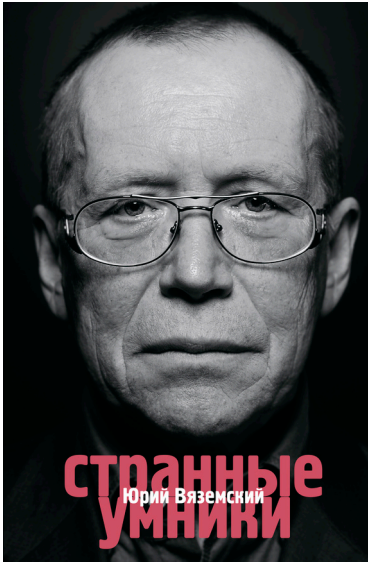




Юрий Павлович Вяземский

Странные умники (сборник)

«Текст предоставлен правообладателем»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=181996

Странные умники:[сборник] / Юрий Вяземский.: Астрель: АСТ; Москва; 2009

ISBN 978-5-17-058684-4, 978-5-271-23466-8

Аннотация

Проза Юрия Вяземского необычна. Она поражает прежде всего особой тонкостью авторского мировосприятия, глубиной и точностью в постижении внутреннего мира человека.

В большинстве своем рассказы Юрия Вяземского – о молодых людях, о попытке проникновения их в тайны Вселенной и собственной души.

Содержание

Здравствуйте, уважаемые друзья!	4
ШУТ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
Глава I	7
Глава II	12
Глава III	19
Глава IV	23
Глава V	27
Глава VI	30
Глава VII	34
Глава VIII	35
Глава IX	37
Глава X	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Юрий Вяземский

Странные умники

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Эти рассказы и повести были написаны мною давно, некоторые – почти тридцать лет назад. С тех пор многое изменилось в окружающей нас жизни: нет теперь пионеров и комсомольцев, дети учатся в школе одиннадцать, а не десять лет; исчезли бесконечные очереди перед магазинами и в магазинах; плавленый сырок не стоит уже 15 копеек и тому подобное. Но внутренне так ли уж мы изменились за эти минувшие годы? Мы так же любим и ненавидим, так же радуемся и огорчаемся, надеемся и верим. В сущности, со временем приспособливается и изменяется только глупость, а ум остается постоянным и независимым – таким, каким был и тридцать лет назад, и во времена Достоевского, и в Древней Греции.

Короче (распространенное сейчас слово), я решил ничего не менять в своих ранних сочинениях. Более того, готовя эту книгу, я с удивлением для себя обнаружил, что с различными умниками и умницами я стал знакомиться значительно раньше, чем пришел на телевидение и придумал программу для умных школьников и не менее умных телезрителей самых разных возрастов, призваний и профессий. Я уже тогда о них думал, представлял их себе и пытался описать их интересную и трудную жизнь.

Книгу эту я назвал «Странные умники». Ибо, как мне кажется, умные люди всегда несколько странны и для окружающих, и для самих себя в неожиданных жизненных ситуациях. Вы согласны со мной? Боюсь, если Вы умный человек, Вы вынуждены будете со мной согласиться.

Будьте счастливы и здоровы!

Искренне Ваш Юрий Вяземский

ШУТ Повесть

Посвящаю Зое Дмитриевне Вяземской

ПРЕДИСЛОВИЕ

Липкий от пыли, между целлофановым пакетом со сломанными игрушками и стопкой пожелтевших газет на антресолях...

Я тут же прочел его, даже не отерев от пыли обложку, ощущая вкус этой пыли у себя на языке, так как все время приходилось слюнявить палец, чтобы перевернуть слипшиеся страницы. И поначалу решил: оставлю все, как есть, лишь слегка отредактирую, исправлю орфографические ошибки и отдам машинистке на перепечатку, а затем отнесу в редакцию. И название оставлю прежнее, то, которое дал ему его автор: «Дневник Шута».

Но потом подумал: нет, так нельзя. Во-первых, «Дневник» слишком велик: почти двадцать тонких тетрадок, уложенных в футляр-папку из картона и синего холста с петлями и костяными пуговицами; много в нем ненужных подробностей, которые, ничего не сообщив читателю, лишь отнимут у него время.

Во-вторых, стиль и язык «Дневника» весьма необычны, а некоторые выражения и понятия, используемые автором, вообще недоступны пониманию без соответствующего комментария, довольно пространныго, подчас по объему превышающего собственно комментируемое. К примеру, что могут означать выражения: «Готовил себя к Исследованию, как бойцового петуха для царя», или «Лет ему было еще долго до того, когда не колеблются», или «Он встал с постели о пятой страже»?.. Ну вот, видите!

В-третьих – и это, пожалуй, основное, что заставило меня провести самостоятельное исследование, – даваемые в «Дневнике» интерпретации часто вступают в противоречие с реальными жизненными событиями и свидетельствуют о сознательном или нечаянном искажении последних его автором. Многие также явно преувеличено, приукрашено, так сказать, эффекта чистого ради, гиперболизировано до непозволительной крайности... Ну да вы сами дальше поймете!

Без «Дневника» мне, конечно, не обойтись, но я буду прибегать к нему лишь в тех случаях, когда он будет действительно необходим для моего исследования, которое назову следующим образом:

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ШУТА

Исследование по материалам «Дневника Шута»

ВВЕДЕНИЕ

Жил-был Шут. Но никто из окружающих не знал этого настоящего его имени. Отец звал его Валентином, мать – когда Валенькой, когда Валькой. В школе называли его Вале́й.

И только он сам знал свое истинное имя – Шут, гордился им, оберегая от чужих любопытных ушей и нескромных языков, носил его глубоко под сердцем, как самую большую тайну и самое сокровенное богатство, и лишь по вечерам, наедине с самим собой, дождавшись, пока родители лягут спать и не смогут нарушить его одиночество, заносил это имя в свой «Дневник». Почерк у Шута был корявый и неразборчивый, но имя свое он всегда выписывал с чрезвычайной тщательностью, едва ли не каллиграфически, так что рядом с другими словами оно смотрелось неожиданно и странно, точно чужой руке принадлежащее.

Глава I ПРОЗВИЩЕ

Однажды Володя Кондратов спросил Шута: «Послушай, Валя, почему у тебя нет прозвища? Ведь у всех в классе есть какое-нибудь прозвище». Шут ответил ему вопросом на вопрос: «А у тебя тоже есть какое-нибудь прозвище?» – «Да, меня все зовут Кондриком». – «Вот видишь, – улыбнулся Шут. – А меня все зовут Валей» («Дневник Шута», тетрадь 2, страница 25).¹

Странное дело! С его фамилией – Тряпишников, которая сама просилась на язык, дабы смастерить из нее эдакое...

И в то же время никто в классе не только не позволил бы себе подшутить над фамилией Шута, но и произнести ее всуе не рискнул бы. Меньше всех Толька Щипанов, который когда-то имел неосторожность обозвать Шута Барахолкой. Как отреагировал на это Шут, нам точно неизвестно, но прозвище пристало не к Шуту, а к самому Тольке Щипанову, которого с той поры в школе называли не иначе как Толька Барахолкин или просто Барахолка. И надо сказать, что прозвище это удивительным образом соответствовало облику Щипанова: он был расхлябан, разболтан и неудержимо болтлив, к тому же одет всегда удивительно неряшливо. Даже учителя нередко награждали его замечаниями типа: «Послушай, Щипанов, ты не на барахолке, а на уроке».

Досталось от Шута и двум девчонкам, двум неразлучным подружкам, Лене Гречушкиной и Маше Колесниковой, которые вдруг взяли в привычку, обращаясь к Шуту, называть его исключительно по фамилии: «Послушай, Тряпишников» – и тому подобное. Впрочем, они всех одноклассников называли по фамилии, но Шуту эта манера обращения пришлась не по вкусу, и однажды, когда две неразлучные подружки были уличены учителем в том, что списали друг у друга классное сочинение...

Они и до этого частенько списывали друг у дружки, но всякий раз, когда их на этом ловили, вид имели самый невинный. В классе уже к этому привыкли. Поэтому, когда учительница, раздавая сочинения, вдруг вызвала обеих подружек к доске, все тотчас же смекнули, в чем дело. Невдомек было лишь одним подружкам. Покорно и безбоязненно поднялись они из-за стола и засеменили к доске, одна толстенькая и краснощекая, а другая худая, бледная, с пышной кудрявой шевелюрой. И тут Шут изрек следующее четверостишие:

Свинью с овцой куда-то гнали,
Но вот куда – свинья с овцой не знали.
Их гнали на убой,
Свинью с овцой.

За эту декламацию и главным образом за дружный гогот, который она вызвала в классе, Шуту было сделано замечание, но с тех пор за подругами закрепилось прозвище – Свинюшкина с Овчушкиной. Иначе их не называли.

В общем, едва ли в классе нашлось хотя бы одно прозвище, к которому Шут, как говорится, не приложил бы руку. Причем делал он это будто невзначай. Подметит в характере или в облике своего одноклассника какую-нибудь типичную для того смешную черточку, как бы случайно обратит на нее внимание коллектива – и готово прозвище. Выходит, что не Шут его придумал, а весь класс вдруг сделал открытие и единодушно пришел к выводу,

¹ Нумерация страниц в тетрадях сквозная.

что, скажем, Вася Соболев никакой не Вася и даже не Соболев, как его называли чуть ли не с первого класса, а самый что ни на есть Митрофанушка, и звать его отныне будут только так и не иначе, так что вскоре он на Васю и откликаться разучится.

У Шута же никогда не было прозвища, за исключением того, которое он сам себе придумал и которого никто в классе не знал. Да и непохож он был на шута, вернее, на тех школьных шутов, вертлявых, никчемных болтунов, которые есть почти в каждом классе и все шутовство которых заключается лишь в том, чтобы кривляться на уроках, болтовней своей мешать учителям и надоедать сверстникам одними и теми же глупыми выходками. Наш Шут глубоко презирал эту фиглярничающую братию и никогда не считал их за настоящих шутов. Поведением он был молчалив и необщителен. Наружность также имел далеко не шутовскую, во всяком случае, не ту, которой обыкновенно наделены шуты в мировой литературе: не горбат и не хром, не кривобок и не косоглаз. Долговязый такой паренек с ничем не примечательным лицом, разве что чуточку сутуловат. Вот как он себя представляет в своем «Дневнике»:

Чуткая поступь и сумрачный взгляд.
Ничем не расстроен, ничему и не рад.
Шествовал молча, обликом груб,
Даже улыбка не трогала губ

(т. 4, с. 79).

Однажды в класс, в котором учился Шут, пришел новенький, некто Владислав Разумовский. Высокий красивый парень, из тех, кого обычно называют грозой женских сердец. Сам он себя в любом случае считал неотразимым, и это чувствовалось в каждом его движении: в том, как он разгуливал по школьному коридору на перемене, прямой, как балерина, горделиво неся красивую, заботливо причесанную голову, устремив задумчивый взгляд своих серых с поволокой глаз куда-то вдаль, поверх суетящейся малышни и шушукających семиклассниц, словно видел в этой дали то, что лишь ему одному было дано увидеть; в том, как сидел на уроке, откинувшись на спинку стула, презрительно шурился, когда отвечали мальчишки, и снисходительно улыбался, когда к доске вызывали девочек; в том, как говорил, общаясь со своими новыми одноклассниками, нарочито медленно, как бы с неохотой.

Этот самый Разумовский на первом же уроке, когда учительница, отмечая в журнале присутствовавших, произнесла фамилию Тряпишников, вдруг громко фыркнул, обернувшись, смерил Шута взглядом, а потом повернулся к соседу и заявил:

– Тряпишников?! Бывают же такие смешные фамилии!

Класс так и обмер, взгляды тотчас же устремились на сумрачную фигуру, сидевшую на последней парте в дальнем углу класса. Но Шут промолчал, а перед началом следующего урока вдруг подошел к Разумовскому и задумчиво произнес:

– Послушай, что-то я тебе хотел сказать...

Шут долго изучающе смотрел на Разумовского, так, что тому стало не по себе от этого взгляда, и, оглядевшись по сторонам, он спросил:

– Что?.. Что такое?

Но Шут с досадой махнул рукой и отошел в сторону, бросив чуть ли не со злостью:

– Да нет! Это не тебе!

Те, кто видел эту сцену, – а Шут позаботился о том, чтобы при ней присутствовал почти весь класс, – сразу же поняли, что Шут принял брошенный ему вызов. Этот прием Шута был хорошо известен. Обычно Шут им представлял очередную свою жертву. Один Разумовский ничего не понял, покраснел и сердито крикнул вслед:

– Эй, как там тебя, Тряпишников! С твоей фамилией я бы вел себя скромнее!

Но Шут и на этот раз не ответил, молча проследовал к своему месту и, лишь сядя за парту, разочарованно вздохнул и пробормотал себе под нос, но так, чтобы слышали другие: «Какой плохой ответ. Совсем никудышный».

Теперь в классе уже не сомневались в том, что Шут вознамерился разделаться с новичком, и никто, понятно, не хотел пропустить увлекательного зрелища, особенно девчонки, на которых Разумовский, конечно же, произвел известное впечатление. На уроках с Разумовского теперь не спускали жадных взоров, на переменах старались держаться к нему поближе, чтобы, не дай Бог, не прозевать атаки Шута, как всегда неожиданной.

Разумовский, естественно, не мог не заметить этого повышенного к себе внимания, но объяснил его своей неотразимостью и способностью мгновенно покорять женские сердца. О столкновении с Шутом он быстро забыл, полагая, что поставил на место «этого Тряпишникова».

Шут, однако, не спешил с ответным ударом. Он вдруг вообще перестал замечать обидчика, позволял ему называть себя по фамилии, на уроках оставлял без комментариев задиристые и малоостроумные реплики, которые Разумовский, освоившись, начал все чаще вставлять в объяснения учителей и ответы учеников. К полнейшему разочарованию одноклассников пропустил он мимо ушей и такую выигрышную, по всеобщему мнению, ситуацию, когда француженка, Жоржетта Ивановна, которая не только преподавала французский язык, но и была француженкой по национальности, принялась восторгаться «аристократической» фамилией новичка. В ответ на дифирамбы Разумовский, размякший от удовольствия, кокетливо опустил глаза, а у девчонок от напряжения дух перехватило: «Вот-вот сейчас! Сейчас обязательно! Не может быть, чтобы не сейчас!» Все взгляды обратились на Шута, но тот угрюмо смотрел в окно и не проронил ни слова.

Многие уже отчаялись в своем ожидании и ждать перестали. Но тут-то все и произошло.

Шел урок физики. Физик, седовласый педант, которого в школе все уважали, точнее, побаивались; который называл всех своих учеников на «вы» и по фамилии, даже пятиклассников; который всегда говорил тихо и вообще переходил на шепот, когда кто-нибудь шумел и не слушал, а потом спрашивал того, кто шумел, и, если тот не мог ответить на вопрос, ставил ему двойку... Так вот, физик написал на доске условие задачи и предложил ее решить желающим. Задача была из тех, которые с виду кажутся простыми, даже пустяковыми, но решаться не хотят, тая в себе небольшую, но труднообнаружимую хитрость. Физик питал слабость к такого рода задачам и, как подозревали в классе, сам их придумывал.

Три человека выходили решать задачу, но никто из них не мог ее осилить: потерянно крутились у доски, пачкали мелом затылки, а потом, виновато улыбаясь, садились на место. Разумовский наблюдал за всем этим с брезгливым выражением лица, откинувшись на спинку стула и вытянув под столом свои длинные ноги, а когда третьего волонтера постигла неудача, вдруг взял и заявил:

– У нас в математической школе такие задачи решал любой пятиклассник.

– А вы учились в математической школе? – заинтересовался физик.

– Да, приходилось, – небрежно ответил Разумовский.

– Тогда предлагаю вам выйти к доске и продемонстрировать свое умение.

Читатель, наверно, уже догадался о том, что произошло дальше?

Да, так оно и было. Надменный и самодовольный вышел Разумовский к доске, легко и размашисто решил задачу, а потом, ни слова не говоря, отправился на место, прямой, как балерина, вскинув голову и глядя куда-то вдаль.

Физик выждал, пока он сядет, а потом произнес мягким своим баритоном:

– Ученик Разумовский с задачей не справился.

– То есть как это?! Я же все решил! – От удивления и негодования Разумовский вскочил со стула.

– Ученик Разумовский с задачей не справился, – невозмутимо, по обыкновению своему понижая голос в ответ на шум, повторил физик. – Пятиклассники, возможно, и решают такие задачи, и, наверно, именно так, как решил ее сейчас ученик Разумовский. Впрочем, полагаю, что в математической школе даже пятиклассник, прежде чем приступить к решению подобной задачи, обратил бы свое внимание на то обстоятельство, что одно заданное условие противоречит другому.

Разумовский открыл было рот, но так и не нашел, что возразить, а физик продолжал, не глядя на Разумовского, а обращаясь ко всему классу:

– Совершенно верно, ученик Разумовский. Эта задача не имеет решения. Поэтому, будьте любезны, встаньте со своего места, подойдите к доске, сотрите все, что вы написали, и под условием предложенной задачи напишите крупными, четкими буквами всего четыре слова: «Задача не имеет решения».

– Да нет... я... я ведь... – бормотал Разумовский. Жалкое зрелище являл он собой в эту минуту. Лицо его покрылось пятнами, взгляд метался по доске, тщетно пытаясь отыскать на ней хотя бы малейшую соломинку, за которую можно было бы уцепиться и спасти репутацию. Разумовский не желал признавать свое поражение, несмотря на повторное приглашение физика, не хотел выходить к доске, а стоял, вцепившись обеими руками в край стола, оскорбленный, растерянный и смешной.

Класс молчал затаив дыхание, готовый взорваться в любую минуту и как бы загипнотизированный ожиданием собственного взрыва. И в этой взрывоопасной тишине вдруг кто-то горестно вздохнул, и вслед за этим отчетливый, без намека на иронию, а искренним состраданием наполненный голос произнес:

– Эх ты! Фамилия!

И класс взлетел в воздух, схватился за животы, заерзал на стульях и затрясся в спазмах нестерпимого хохота. Даже педант-физик не удержался от улыбки. Лишь два человека не смеялись. Один в бессильной ярости озирался по сторонам, а другой, мрачный и угрюмый, сидел в дальнем углу класса и смотрел в окно.

Не станем докучать читателю описанием дальнейших событий. Отметим лишь, что после этого случая за Разумовским закрепилось прозвище Фамилия: «Спроси у Фамилии, он тебе скажет», «Слышь, Ленка, а как тебе Фамилия? Ничего парниш, правда?», «Господа, а у Фамилии нашей завтра день рождения» и так далее. А то обстоятельство, что Фамилия, когда приходилось ему слышать подобное к себе обращение, страшно уязвлялся и чуть ли не с кулаками кидался на обидчика, лишь усиливало искушение величать его так, а не иначе. Особенно обрадовался этому прозвищу Толька Барахолкин и, хоть за эту свою маленькую радость ему не раз доставалось от Разумовского, никак не желал отказать себе в удовольствии, а посему нередко несся по коридору, истошно вопя на всю школу: «Ребята! Держите Фамилию! Она меня убьет!»

Из всего класса один лишь Шут ни разу не применил к Разумовскому этого прозвища ни в глаза, ни за глаза, а обращался к своему новому однокласснику всегда с подчеркнутым уважением и всегда по полному имени – Владислав.

Пустяковый, впрочем, эпизод, и Шут здесь вроде бы ни при чем. Ведь получается, что человек сам себя подверг осмеянию, а Шут лишь удачно вставил реплику и предложил ярлычок, который дружно приклеили всем классом. Мы бы вообще об этом умолчали, но соответствующая запись в «Дневнике Шута» показалась нам не лишенной интереса:

«Плывя по реке, царь поднялся на Обезьянью гору. Увидев его, стадо обезьян в испуге разбежалось. Только одна обезьяна прыгала то сюда, то туда, хвасталась перед царем своей

красотой. Царь улыбнулся, поманил обезьяну, а когда та приблизилась, велел слугам схватить ее и обезобразить...²

Сегодня Шут³ вновь экспериментально проверил известную шутовскую истину: не надо высмеивать того, кто смешон сам по себе. Надо лишь помочь ему проявить себя, поставить на его пути ловушку, а он сам туда пойдет и сам захлопнет крышку. Вот он, голенький, растерянный и смешной, выросший за бумажной ширмой, защищавшей его от сквозняков и насекомых.

Но повозиться Шуту пришлось-таки. Пока просчитал Разумовского к физике, пока нашел подходящую задачку, пока убедил физика дать эту задачу на уроке. Но затраты полностью окупались.

Поистине верно говорится в стихах:

Сквозь заросли охотник пробирался,
Он тигра убивать не собирался.
Но хищный зверь, скользя неслышной тенью,
За ним следил, готовый к нападению.

(т. 4, с. 89).

² Здесь и далее в своих дневниковых записях Шут использует, по-видимому, древние легенды и притчи, а также стихи. Ссылок на первоисточники он не дает, но и на авторстве своем, как можно будет заметить, не настаивает.

³ «Дневник Шута» велся Валею Тряпишниковым от третьего лица.

Глава II

СКОЛЬКО ЛЕТ ШУТУ?

Однажды Шута кто-то спросил: «Сколько лет тебе, Валя?» – «Вале – пятнадцать, а мне – шесть лет», – ответил Шут. «Почему шесть? Не понимаю», – удивился Задавший Вопрос. Шут улыбнулся, но ничего не ответил (т. 2, с. 27).

Шуту действительно было шесть лет, а Вале Тряпишникову – пятнадцать. Все правильно. Из «Дневника Шута»:

«Существуют рожденный и нерожденный. Нерожденный способен породить рожденного, а тот не может не родиться. Поэтому всегда рождаются...

Лев Толстой помнил себя в два года. Шут же помнит не только сам момент своего рождения, но и то, что было до этого. Хотя то, до его рождения, кажется ему теперь чем-то очень смутным и расплывчатым, точно его и не было. Но оно было. Оно было унижительным и беспомощным. Оно было жалким и болезненным.

Тот случай с котенком. Разве может Шут забыть о нем, хоть и был он до его рождения. И как относились к нему, к тому, еще не родившемуся, в школе, во дворе. Везде. Или Синеглазого, который заставил Шута родиться, сделал из него сначала неумелого шутенка, наивного, подслеповатого, но потом постепенно выросшего в Настоящего Шута.

Как лучше описать то, что испытывал Шут, еще не появившись на свет? А вот как:

Подсунули немому горький плод. От горечи скривил бедняга рот. И горечь и обида жгут его, А он сказать не может ничего.

Как ребенок в материнской утробе. Беспомощный, зависимый, опутанный пуповиной и неспособный без нее ни дышать, ни есть, но уже давно чувствующий боль, имеющий собственное сердце, собственный мозг, собственную судьбу. Бедный, еще не родившийся на белый свет зародыш!

С днем рождения, Шут! Шесть лет назад ты сам принял свои роды, сам, скорчившись от боли, разорвал связывавшую тебя пуповину прошлой немощи, а потом впервые и самостоятельно вздохнул полной грудью, и закричал от боли и от радости, что ты появился...

Там, в лесу... Помнишь?» (т. 13, с. 311).⁴

Тут необходимо кое-что пояснить, иначе может быть непонятно. Не станем докучать читателю подробностями, а кратко опишем лишь те случаи, которые упоминаются в «Дневнике Шута».

Случай с котенком. Вероятно, Шут имеет в виду следующий эпизод. Шут тогда еще не родился, а Вале Тряпишникову едва исполнилось семь лет. Как-то раз, гуляя во дворе, Валя увидел, как двое мальчишек, года на два моложе его самого, мучили котенка. Один мальчик куском колбасы манил котенка к себе, в то время как его товарищ при каждой попытке котенка завладеть колбасой хватал его за хвост и оттаскивал в сторону. Котенок визжал от боли и разочарования, дрожал, пытался кусаться, а мальчишки смеялись. Неподалеку от них стояли их отцы и что-то оживленно обсуждали между собой, изредка поглядывая на своих детишек.

Валю эта сцена возмутила до глубины души.

– Ему же больно, – обратился он к одному из мальчишек, к тому, что держал за хвост котенка.

⁴ Пусть не смущают читателя преувеличения и недетская образность автора «Дневника». В том возрасте, в котором велся «Дневник» – Валя Тряпишников начал его в четырнадцать лет, – обычно склонны преувеличивать, а образность, как правило, бывает нарочито недетской.

Мальчишка удивленно посмотрел на Валу, не выпуская визжавшего котенка, потом улыбнулся и миролюбиво объяснил:

– Не-а. Не больно. Мы же с ним играемся.

Ни слова больше не говоря, Валя схватил мальчишку за ноги и перевернул его вниз головой. Мальчишка принялся кричать и плакать, а Валя тихо шептал ему на ухо:

– Чего же ты кричишь? Я же с тобой играю. Тебе же совсем не больно.

Взрослые вмешались почти тут же. Сильные, грубые руки ухватили Валу за шиворот, отняли у него мальчишку, а самого оттащили к кустам и там долго крутили ему уши, точно собирались вырвать с корнем. Слезы лились из Валиных глаз, но он не издал ни звука. И лишь когда его пнули коленом под зад, толкнули в кусты и сказали: «Ну что, будешь знать, как обижать маленьких?!», – ответил: «Они мучили беззащитное животное. Ваши дети – живодеры».

– Какое еще животное? – возмутился папаша. – Тоже мне! Вали отсюда, пока уши тебе не открыл.

Дылда!

Вот и весь случай. Вроде ничего особенного, но целую неделю после него Валя не мог прийти в себя, потерял аппетит и плохо спал по ночам. Мучился пока еще не родившийся Шут. Но не уши были тому виной и не воспоминание о пережитом унижении. Другое не давало Вале покоя. Будучи прав, он понес наказание. Ведь не может же так быть, рассуждал Валя, чтобы справедливость возмещалась несправедливостью, а значит, где-то была допущена ошибка, где-то он, Валя, вел себя не так, как надо. «Но как надо было? В чем ошибка?» – терзался Валя.

Ну да Бог с ним, с этим случаем! Случай с Синеглазым, то есть с Юрой Сидельским, куда важнее для нас: ведь именно после него на свет появился Шут.

С Синеглазым Валя встречался одно лето на даче. Тот был на несколько лет старше Вали, на голову выше его и намного шире в плечах. Дачные мальчишки все боялись его, и те, которые при виде Синеглазого прятались за забором своих дач, и те, которые входили в его команду, «хоровую капеллу», как называл ее сам Синеглазый.

Что он был за человек? Позволим себе несколько зарисовок.

Когда Синеглазый расправлялся с какой-нибудь из своих жертв, он выстраивал «капеллу» вокруг места экзекуции и заставлял мальчишек громкими голосами петь песни, дабы заглушить крики. Песенный репертуар был весьма обширен, однако чаще всего исполнялись три хоровых произведения: «Вечерний звон», «Из-за острова на стрежень» и «Вихри враждебные». Сам Синеглазый воспитывал лишь своих, тех, что входили в «капеллу», а чужаками занимались двое его подручных, так называемые «барабанщики», которым, по его словам, медведь наступил на ухо, а посему ни на что другое они не годились. В последнем случае Синеглазый исполнял роль капельмейстера, весьма профессионально дирижируя хором, а заодно и двумя своими «барабанщиками», показывая им, когда надо «вступить» и когда прервать «соло».

Другой штришок. Синеглазый был очень вежливым мальчиком. Воспитывая одного из своих «хористов», обычно вкрадчивым голосом укорял его: «Послушай, дорогой, ты ведешь себя кое-как. Но ты не горюй, мы тебя будем воспитывать». И воспитывал, стараясь при этом примерно унижить своего воспитанника: под звуки «Вечернего звона» стегал крапивой, заставлял до полного изнеможения прыгать на одной ноге, рвать зубами и жевать траву, пить из лужи и т. п. Этих «т. п.» у Синеглазого было в разнообразном изобилии, причем воспитываемый часто мог выбрать то, что ему больше по вкусу. «Ничего, – ласково приговаривал Синеглазый, – потерпи немного. Зато я сделаю из тебя настоящего человека». Делать ему это было несложно, так как самому старшему в «капелле» еще не исполнилось одиннадцати лет, а Синеглазый уже достиг тринадцати.

Со взрослыми Синеглазый был особенно вежлив, здоровался не брошенным на лету неразборчивым «здрассте», как обычно здороваются в его возрасте, а остановившись, учтиво склонив голову и тщательно выговаривая каждое слово: «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!», или: «Доброе утро, Павел Иванович!» Повстречавшись с женщиной, несущей ведра воды или сумки с провизией, отбирал у нее ношу и не успокаивался, пока не подносил тяжесть к самому дому. Того же требовал от своей «капеллы» и с особой строгостью наказывал тех, кто пренебрегал этими обязанностями. Так что, стоило «капелле» завидеть вдалеке одинокую женскую фигуру, с тяжелой поклажей бредущую со станции, и все, как по команде, срывались с места, коршунами налетали, силой вырывали и нередко даже дрались между собой за право тащить сумку или сетку с картошкой; никому, понятно, не хотелось жевать траву или пить из лужи.

Нет ничего удивительного в том, что едва ли не все взрослые были в восторге от Синеглазого, советовали своим детям брать с него пример и с негодованием отмахивались от любых поступающих на него жалоб: «Да нет, не может быть! Он такой воспитанный мальчик».

К нашим штришкам добавим, что глаза у Юры Сидельского были действительно синими, причем синевы редкостной, чистой, завораживающей, за что он и получил свое прозвище; что он очень прилично играл на гитаре, в отличие от большинства своих сверстников не брэнчал на ней одни и те же фальшивые аккорды, а исполнял главным образом классический концертный репертуар; что отец у него был известный ученый, доктор, профессор и даже, кажется, член-корреспондент. На даче, правда, его никто никогда не видел; Синеглазый жил там с двумя старшими сестрами и матерью, безудержной курильщицей и одержимым грибником. Когда начиналась грибная пора... Но это к нашему рассказу уже не относится.

Наш герой познакомился с Синеглазым на следующий день после того, как семейство Тряпишниковых переехало на дачу, снятую на летнее время. В первую же свою прогулку по поселку Валя наткнулся на «капеллу» и тут же был ею окружен для выяснения личности.

Как «выяснял личность» Синеглазый? А вот как.

Валя даже испугаться не успел, как уже лежал на земле, сбитый подножкой, и слушал первый куплет «Вечернего звона». После первого куплета у него поинтересовались, откуда он взялся. Он принялся объяснять, но не успел договорить до конца, так как двое парней подняли его с земли и тут же снова бросили наземь, после чего приступили ко второму куплету.

Перед третьим куплетом с чувством безысходной тоски Валя понял, что его вот-вот начнут бить. И тут случилось то, чего не только «капелла» под управлением Синеглазого, но и сам Валя от себя не ожидал.

Стоя на коленях, прижав подбородок к груди, чтобы не тереться лицом о чьи-то грязные штаны, Валя вдруг запел тот единственный куплет, который пришел ему на память:

Их многих нет Теперь в живых, Тогда веселых, Молодых.

Дальше он не помнил, а потому запел сначала, то, что уже слышал, стараясь петь как можно выше и громче. И даже делал «бом-бом». Потом вдруг вскочил на ноги, отыскал взглядом самого взрослого из обступивших его мальчишек и, улыбаясь и как бы ему одному адресуя свою песню, пропел:

О юных днях В краю родном, Где я любил, Где отчий дом.

Пока он пел, тот, кому он улыбался, – а это был Синеглазый, – внимательно его разглядывал, а когда пение кончилось, вдруг хитро прищурился и, едва заметным кивком головы приказав двум «барабанщикам» вернуться на свои места, объявил:

– Ау этого малыша неплохой слух. Честное слово!

«Капелла» тут же зааплодировала. Синеглазый выждал, пока аплодисменты смолкли, и сказал, обращаясь к Вале:

- Хочешь, я возьму тебя в свою капеллу? Будешь у меня первым сопрано.
 - А бить вы меня не будете? – спросил Валя.
 - Если не будешь фальшивить, – ответил Синеглазый и довольно ухмыльнулся.
- Так Валя был принят в «капеллу».

Нет, Шут еще не родился. «То был лишь первый толчок, первая проба своего еще не сформировавшегося до конца и еще не освобожденного из скрюченного положения тела, проба инстинктивная и бессознательная» (т. 13, с. 312). Так потом, спустя шесть лет, Шут будет вспоминать об этом случае.

Шут появился на белый свет лишь через месяц после того, как познакомился с Синеглазым и был принят в «капеллу». К этому времени он уже наизусть знал весь ее песенный репертуар. Более того, он – не по собственной, правда, воле – даже ввел новый жанр в «концертную программу» – жанр конферанса и юмористических импровизаций, с которых теперь начинались все «воспитания». Особого удовольствия от своей новой деятельности он, однако, не испытывал. Напротив, после каждой экзекуции, в которой принимал участие, презирал себя и клялся себе в том, что отныне и близко не подойдет к Синеглазому и его компании, уже не говоря о том, чтобы подыгрывать им своими шуточками. Но что-то необъяснимое и властное тянуло Валу к Синеглазому, заставляло нарушать данные себе клятвы и выталкивало на середину круга, образуемого «капеллой» вокруг «воспитуемого».

Как потом признается себе автор «Дневника», не родись Шут, вернее, не помоги случай ему родиться, Валя довольно быстро превратился бы в жалкого фигляра, привыкшего унижать слабых и одиноких на потеху сильного стада. Но...

Жил в поселке шестилетний Сережка Скуратов. В своей семье он был шестым ребенком. Отец его, одноногий и однорукый калека, нигде не работал, чуть ли не каждый день был пьян, пропивая свою пенсию и большую часть заработка жены, измученной и опустошенной безрадостной жизнью женщины. Дети в семье Скуратовых росли почти беспризорными, и самым беспризорным был Сережка.

Вечно чумазый, голопузый и босой, с кровоподтеками по всему телу, с соплями, прилипшими к верхней губе, мыкался он по поселку, собирая сигаретные бычки для двух старших братьев и воруя клубнику на чужих огородах – для себя. На воровстве своем частенько попадался. Одни драли ему уши; другие жаловались отцу, который хотя и встречал жалобщиков бранью, но все-таки порол своего младшенького; а третьи, которых в поселке, к счастью, было большинство, отловив Сережку на своем огороде, вели его в дом, мыли и кормили мальчишку чем-либо посущественнее ворованной клубники. Никакой благодарности за это Сережка, однако, не испытывал и у тех, кто мыл и кормил его, воровал значительно чаще, чем у тех, кто драл ему уши или жаловался отцу. Но это к нашему рассказу не относится...

Так вот, этот самый Сережка Скуратов с некоторого времени стал таскаться за «капеллой». Его пытались отвадить, брезгуя его обществом, цыкали на него, отшвыривали с дороги, как паршивого котенка. Но с каждым днем он все больше привязывался к «капелле» и все безбоязненнее следовал за ней по пятам, так что в конце концов с его присутствием смирились, как стая акул уживается с рыбами-прилипалами.

Однажды, когда «капелла» в отсутствие какого-либо занятия слонялась по поселку, взгляд Синеглазого случайно упал на Сережку, волчком крутившегося у него под ногами, и в воспаленном бездельем Синеглазовом мозгу родилась идея, которую он тут же принял, как говорится, претворять в жизнь. Послал двух своих подручных в магазин за ромовыми бабами, а когда посланцы вернулись с покупкой, поручил «барабанщикам» отогнать Сережку, а сам расковырял пальцем одну из булок, извлек сердцевину и велел «зафаршировать» разной живностью – головастиками, болотными жуками и дождевыми червями, – незаметно залепив «фаршировку» мякишем. После этой процедуры «барабанщики» при-

вели Сережку, и на его глазах шестеро из «капеллы» – в том числе сам Синеглазый – стали лакомиться ромовыми бабами, демонстративно смакуя кушанье.

Сережка смотрел на них с завистью и с каким-то сладостным страданием в глазах.

– Эх, ребят! Нехорошо получилось! – словно вдруг опомнился Синеглазый. – Про пацаненка-то забыли!.. Ну-ка, Валя, угости его! У меня тут еще осталась одна штучка.

Нечто подобное судороге пробежало по Валиному лицу, но он подчинился команде, взял у Синеглазого «фаршированную» булку и отнес ее Сережке.

Опешив от обрушившегося на него счастья, Сережка вцепился зубами в лакомство, судорожно проглотил откушенный кусок и только тут обнаружил начинку. Но не выбросил булку, а принялся старательно выковыривать напиханных в нее тварей.

Кто-то из «капеллы» приснул со смеху, но тут же поперхнулся смешком от звонкой пощечины Синеглазого.

– Тише, чудака. Аппетит пацану испортишь, – предостерег «капельмейстер» и, повернувшись к Вале, приказал: – А ты чего стоишь? Давай конферанс! И в полную силу работай!

Тут-то все и произошло. Вдруг что-то непонятное и сильное толкнуло Валу в спину, швырнуло его к Сережке, заставило вырвать у того булку, а потом кинуло к Синеглазому...

Холодный, горьковатый воздух обжег легкие. Шут поперхнулся им, сморщился от пронзившей его незнакомой боли, вытянул вперед руку с ромовой бабой, точно защищаясь от чужих, удивленных лиц, окруживших его со всех сторон, и вдруг закричал от боли, от страха и радости, неизвестно откуда появившихся, но охвативших все его тело, с ног до головы. Вернее, это Шуту показалось, что он кричит. На самом деле то был лишь хриплый шепот, вкрадчивый и злорадный, каким обычно говорил Синеглазый.

– Видишь эту булочку, Юрочка! – шептал только что родившийся Шут, пожирая влюбленным взглядом Синеглазого и радостно ему улыбаясь. – Я тебе обещаю, что скоро ты сам будешь ее кушать, а мы все будем смотреть на тебя и смеяться! Я сделаю из тебя человека, малыш!

Синеглазый настолько удивился такому «конферансу», что вопреки традиции без всякой организационной подготовки и хорового оформления ударил Шута в зубы. Шут покачнулся, но удержался на ногах и, отскочив в сторону, продолжал все тем же шепотком и с той же улыбкой:

– Не надо так нервничать, Юрочка! Ведь я же пошутил! Неужели ты мог подумать...

– Вот так-то лучше, – проговорил Синеглазый и, подойдя к Шуту, снова наотмашь ударил его. Шут упал и тут же вскочил на ноги. Губа у него была разбита, но он, словно не замечая этого, шептал, глядя Синеглазому прямо в глаза:

– Нет, Юрочка, бить я тебя не стану! Я не бью тех, кто слабее меня! Я придумаю для тебя что-нибудь поинтересней!

Потом его повалили на землю. Двое «барабанщиков» держали его за руки, а Синеглазый стегал крапивой. В тот раз исполняли «Из-за острова на стрежень» и Шута не отпустили, пока не допели эту длинную песню до конца.

Никто из ребят не сомневался, что Шут будет теперь за три версты обходить «капеллу». Поэтому все очень удивились, когда на следующий день он первым явился на традиционное место сбора, к большой сосне над рекой, и повел себя со всеми как ни в чем не бывало. Более того, он вдруг стал выказывать удивительную преданность Синеглазому, с жадностью ловил его взгляд, первым кидался выполнять любое его приказание, ни на шаг не отставал от своего повелителя и часами болтался возле его дачи, когда тот обедал или занимался на гитаре. Короче, из кожи лез вон, чтобы угодить, и в конце концов добился своего: Синеглазый снял с него опалу, приблизил к себе, разрешил заходить к себе на дачу и даже брал Шута с собой на рыбалку, куда ни разу не брал ни одного из своих «хористов».

А через две недели, когда до начала школьных занятий оставался еще целый месяц, Синеглазый вдруг исчез из поселка: уехал в город, ни с кем из «капеллы» не попрощавшись, но отдубасив двух «барабанщиков», встретившихся ему по дороге на станцию.

«Капелла» пребывала в полном недоумении. Никто не догадался, что причиной всему был Шут, который за день до этого подошел к Синеглазому, в уединении удившему рыбку на висячем мосту через реку, и без долгих предисловий сообщил ему:

– Хватит, Юрочка. Пора кончать... Слушай теперь меня внимательно. Ты ворует деньги у своих родителей. Из той небольшой картонной коробочки, которая у вас в шкафу на второй полке сверху. Твоя мама думает, конечно, не на тебя, а на вашу домработницу.

– Чего-о?! – От неожиданности Синеглазый выпустил из рук удилице, и оно упало с моста в воду.

– Это не все, – продолжал Шут. – Твой старший брат шею тебе свернет, если узнает, что ты разбил его японский магнитофон и закопал обломки у колодца.

– Ах ты!.. – вдруг прошипел Синеглазый и, стиснув кулаки, двинулся на Шута. – Да я тебя!.. Я тебя, гаденыш!..

Но Шут не отскочил в сторону, не закричал от страха. Снизу вверх глядя на своего могучего разъяренного противника, наш девятилетний хлюпик лишь безмятежно пожал плечами и произнес усталым тоном:

– Не боюсь я тебя. Это я раньше тебя боялся. А теперь я сильнее. Ну, изобьешь ты меня, а дальше? Все равно – куда ты теперь от меня денешься?

И столько спокойной решимости было в его словах, столько глубочайшего безразличия к собственной участи, что Синеглазый вдруг испуганно спросил:

– Чего-о?

Шут не ответил, повернулся спиной к Синеглазому и пошел прочь, насвистывая себе под нос «Вихри враждебные». Перейдя же на другую сторону реки, обернулся и крикнул:

– У тебя есть только один выход! Завтра перед всей капеллой съешь такую же булку, какую ты дал Сережке Скуратову!

Целых три дня Шут перед зеркалом репетировал эту сцену, проигрывал различные варианты своих реплик в зависимости от того, как поведет себя в ответ Синеглазый, искал нужные интонации и выражения лица. Целых три дня он готовил себя к поединку и все-таки, когда ушел с реки и почувствовал себя в безопасности, он в изнеможении упал на траву, и затрясся всем телом, и застучал зубами, уже не в силах долее сдерживать охвативший его страх.

В этом смешном положении его и настиг опомнившийся Синеглазый...

Не станем описывать сцены, которая произошла между ними. Скажем лишь, что Шут вернулся домой очень поздно, что одежда на нем была разорвана и вымазана в грязи, что под глазом у него был синяк, а губы были в кровь искусаны. Отметим также, что при этом вид у Шута был счастливый и на вопрос о том, где же он все-таки пропадал, он с восторгом объявил:

– Давил тараканов! Один был маленький и трусливый, а другой – сильный и наглый. Но я раздавил и того и другого!

...На следующий день Синеглазый удрал в город. Шуту этого было довольно.

Остается непонятным, каким образом Шуту удалось собрать столь действенные улики против Синеглазого. «Дневник Шута» на этот счет умалчивает. Впрочем, одна запись, сделанная в его середине, как будто кое-что проясняет:

«Сегодня Шут вспомнил о своем первом поединке. Каким смешным и неумелым шутенком он был! И лишь в одном он был Шутом уже тогда – в своей страсти к Исследованию. Долго, терпеливо и настойчиво он исследовал Синеглазого. До сих пор запах жимолости, росшей вдоль забора, не исчезает из памяти, а колючие ветви царапают Шуту лицо.

Шорох собственных шагов под чужим окном, крупницы истины: распахнутая форточка, раздвинутая сквозняком штора, лучик карманного фонаря, стыдливо шарящего в темноте...

Настоящий Исследователь идет под водой и не захлебывается, ступает сквозь огонь и не обжигается, идет над тьмой вещей и не трепещет. При этом он старается делать что-либо одно в одно время. Если ты ищешь какой-либо предмет в своем столе, ты не должен обращать внимания на другие вещи. Из того, кто ест конфеты во время чтения или слушает радио, когда пишет, не выйдет ничего путного» (т. 8, с. 180).

В заключение оговоримся, что, описывая историю рождения Шута, мы сознательно доверились «Дневнику»; иного выхода у нас попросту не было. Из этого, однако, вовсе не следует, что и читатель должен ему доверяться. Действительно, возможно ли, чтобы тринадцатилетний подросток вмещал в себя столько предосудительных наклонностей, как этот Синеглазый? Реально ли в мальчишеской среде такое явление, как «капелла»? Да и многое другое не преувеличено ли? Предоставим же решать наши вопросы самому читателю, уповав при этом на его жизненный опыт и правдолюбивую совесть. Опять-таки иного нам не остается.

Глава III СИСТЕМА ШУТА

Если бы у Шута был ученик и если бы он спросил о том, что есть Система его учителя, Шут бы ответил: «Оружие безоружного. Сила слабого. Ты не можешь понюхать ее носом. Ты не можешь увидеть ее глазами. Ты не можешь потрогать ее руками. Ты не можешь услышать ее ушами. Ты не можешь узнать ее вкуса языком. Ты не можешь понять ее мыслью. Вот она!» (т. I, с. I).

При всем уважении к нашему герою, человеку явно незаурядному, мы все же вынуждены отметить, что, наставляя он таким образом гипотетического своего ученика, он бы явно преувеличил сложность своей Системы. На самом деле все куда проще, а утилитарная часть Системы – «прикладная», «низшая», в общем, то, что сам Шут называет «шутэкан», – так просто примитивна.

Что же это такое, спросит читатель. Извольте.

«Шутэкан» включала в себя несколько десятков серий стереотипных приемов, как оборонительных, так и наступательных, следующих один за другим. Шут назвал эти серии приемов «шутэнами». Вот простейший из них, состоящий всего из трех элементов: «блок-удар-блок». К вам подходит какой-нибудь человек и начинает говорить вам гадости. Вы же не вступаете с ним в пререкания, а, выбрав в облике противника какую-нибудь забавную деталь (оттопыренные уши, длинный нос, на худой конец что угодно – скажем, пятно на пиджаке или чересчур яркие носки), принимаетесь с интересом деталь эту разглядывать, словно только она вас в данный момент занимает, а вовсе не то, что вам говорят, – «блок». Дождавшись, когда противник от вашего пристального взгляда начнет испытывать неудобство, вы вдруг прерываете его тираду изумленным возгласом типа: «Господи! Какие у тебя глупые уши! Только сейчас заметил!», или: «Какой у тебя смешной нос!», или что-нибудь в том же духе про пятно на пиджаке, или вообще ничего не восклицаете, а, привлекая своим взглядом внимание противника к его недостатку, вдруг начинаете смеяться или прыскать в кулак – «удар».

А потом, не давая противнику опомниться, отходите в сторону, сокрушенно качая головой, – «блок».

Если же этого простейшего «шутэна» окажется недостаточно, то можно тут же дополнить его «шутэном» посложнее и им закрепить успех. Например, «шутэном» из разряда «бой с тенью», то есть, обращаясь к третьему лицу – к проходящему мимо однокласснику или к сидящей за партой однокласснице, – а то и вовсе ни к кому не обращаясь, а как бы рассуждая с самим собой, говорите: «Что это он? Да что же с ним такое! Ай-ай-ай...» И далее, если противник не хочет уgomониться: «Ишь как его распирает! Сейчас драться полезет. Да разве я виноват, что у него такие уши?!» И далее: «Ну я же предупреждал! Вон как кулаки стиснул и глазами сверкает!» Произносить эти реплики надлежит как можно серьезнее, а последние две фразы – желательно с испугом.

Подобного рода «шутэнами» Шут, помнится, в седьмом классе до слез доводил Валеру Кожемякина, классного старосту, который имел обыкновение изобретать общественные поручения, одно глупее другого, и навязывать их своим одноклассникам в количествах, далеко выходящих за рамки разумного. Шут быстро отучил его от этой привычки, по крайней мере, не позволял практиковать ее на себе. Стоило Валере приблизиться к Шуту и открыть рот, как правый глаз у Шута начинал сильно косить, что смешило находившихся поблизости ребят, а самого Валеру повергало в состояние безысходной ярости. Дело в том, что Валерий был косоглаз и болезненно переживал это обстоятельство. «Шутируя» с ним, Шут и рта не раскрывал, упирался в Валерия косым, немигающим взором и с непроницае-

мой серьезностью смотрел на него до тех пор, пока Кожемякин не запинаясь на полуслове и не отходил в сторону, бурча себе под нос неразборчивые проклятия.

Впрочем, едва ли стоит подробно описывать «шутэны». Получить представление о них читатель сможет и на нескольких примерах, а пользоваться нашим описанием как практическим руководством вряд ли целесообразно.

А вот мнение самого Шута на этот счет: «Шутэн нельзя разучить по описанию. Можно знать назубок все шутэны и не уметь применить ни один из них. Это как в каратэ. Смешон тот, кто, прочитав несколько книг по каратэ, возомнит себя мастером и попытается воспользоваться тем, что он вычитал. Вдвойне смешон будет он в шутэкан, основной смысл которого, высмеивая противника, самому остаться вне насмешек. Он будет похож на человека, который наносит правильные удары, но наносит их самому себе.

По сути, шутэкан – это и есть каратэ, только значительно шире применимое: не станете же вы бить ногой в висок своего одноклассника, который уколол ваше самолюбие? К тому же в некоторых жизненных ситуациях шутэн значительно больше, чем «гири» или «дзуки»⁵

Поистине верно говорится в стихах:

Опасности подстерегают нас,
Тревожна наша жизнь и нелегка,
И ранят иногда больней ножа
Невинные проделки шутника»

(т. 1, с. 7).

Надо отдать должное Шуту, что «шутэны» свои он проводил мастерски. К этому у него были все задатки: он был артистичен, но не переигрывал, пластичен, но не вертляв, способен к мгновенной импровизации, но умел не терять над собой контроля, богат фантазией, но чужд фантазерству. А посему мог сохранять естественность там, где другой на его месте выглядел бы фигляром и кривлякой.

Последнее, в частности, неизбежно выпадало на долю тех одноклассников Шута, которые пытались ему подражать: всех их быстро ставили на место короткой фразой: «Хватит паясничать!»

Никому и в голову не пришло бы сказать это Шуту. Даже когда после урока по биологии он подошел к учительнице, незаслуженно, как он считал, поставившей ему двойку, взял ее руку, поцеловал и молча удалился. Даже когда на уроке французского языка, который одно время вела молоденькая практикантка, он, опять-таки не говоря ни слова, встал со своего места, подошел к открытому окну и, опершись о подоконник, сделал стойку на руках на высоте четвертого этажа; когда Шут снова встал на ноги и учительница, белая, как подоконник, на котором Шут только что стоял, спросила его, глотая слюну после каждого слога: «Что...э...то... с...ва...ми?», ответил угрюмо и устало: «Просто хотел, чтобы вы наконец обратили на меня внимание. Третий урок тяну руку, а вы точно не видите».

И ничего ему за это не было. Биологичка, перед которой трепетал весь класс, одного взгляда которой, пронизывающего и парализующего, было достаточно, чтобы самые болтливые и неугомонные школьники теряли дар речи и столбенели, как тушканчик перед поднявшейся на хвост коброй, когда Шут поцеловал ей руку, не только не обругала его и не высмеяла, но смутилась, чуть ли не растрогалась и на следующем уроке исправила Шуту его двойку. А молоденькая французенка-практикантка после того, как Шут исполнил перед ней стойку на подоконнике, не отправила его к директору за хулиганскую выходку, даже не

⁵ Разновидности ударов в каратэ.

упрекнула, а тут же принялась спрашивать его по-французски, испуганно глядя на Шута и вздрагивая после каждого своего вопроса.

Только Шут мог себе позволить такое и при этом остаться безнаказанным. Тому можем предложить два объяснения, теснейшим образом взаимосвязанных. Первое: вступив в схватку с противником – или «в момент шутэ», – Шут был на редкость серьезен. Причем, чем примитивнее был «шутэн», тем серьезнее и органичнее Шут старался в нем выглядеть. Эффект получался разительным. Представьте себе долговязого подростка с угрюмым лицом и умным, удивительно холодным взглядом, которым он упирается в вас, точно сверлит насквозь, потом медленно встает и угрожающе движется в вашу сторону, но вдруг целует вам руку или на ваших глазах делает стойку на руках в окне четвертого этажа. Вы можете онеметь или, наоборот, закричать не своим голосом, вцепиться руками в край стола, за которым сидите, или вскочить и броситься к двери, вы можете, наконец, ругать его последними словами или, напротив, просить у него пощады, но сказать ему «хватит паясничать» вам и в голову не придет, а если даже придет, то все равно язык не повернется произнести.

Второе: то, что Шут называл «исследованием противника». Иными словами, Шут точно знал, перед кем ему что и как делать. Перепутай он свои «шутэны» и поцелуй руку француженке, а перед биологичкой сделай стойку, он неминуемо потерпел бы поражение. В лучшем случае его выставили бы за дверь.

Даже в примитивных своих «шутэнах», которые он проводил чисто автоматически, Шут требовал от себя «классификации» противника, хотя бы самой грубой и приблизительной, хотя бы на три категории: «пеший», «всадник» и «Правящий Колесницей». К последней категории автоматические «шутэны» вообще не годились. Что же до первых двух, то каждая из них требовала соответствующей разновидности «шутэна».

К примеру, в простейшем «шутэне» типа «блок-удар-блок» со скользящим ударом по смешной черте лица «пешему» было достаточно восклицания типа: «Какой у тебя смешной нос!», в то время как для «всадника» требовалась реплика иного интеллектуального порядка, скажем: «Ты не читал «Сирано де Бержерака»?.. Да, но ведь, несмотря на это, он был талантливый поэт и настоящий мужчина». «Пеший» наверняка понятия не имел о Сирано де Бержераке, а для «всадника» реплика типа «Какой у тебя смешной нос!» не имела достаточной поражающей силы, ничуть не ранила, давала возможность начать контратаку из более выгодной позиции.

С годами, по мере развития Системы, ее неуклонного и каждодневного совершенствования, дополнения и уточнения, Шут все реже пользовался примитивной ее частью, автоматическими и полуавтоматическими «шутэнами», предпочитая им «моменты шутэ», основанные на предварительном «исследовании», целые сценические композиции, открывающие широкий простор творческому вдохновению, питаемому второй частью Системы – «шутэ-до», или, если угодно, «философией шутовства».

Для наглядности представим «шутэ-до» в виде комплекса «заповедей» Шута, перечислив лишь основные, и, дабы упростить нашу задачу, будем перечислять их не по порядку значимости, а в той последовательности, в которой они встречаются в «Дневнике». С некоторыми из них, кстати, мы уже отчасти знакомы.

1. Жизнь – это непрестанная борьба, в которой каждый борется своим оружием. Умный – своим умом, сильный – силой, подлый – подлостью и т. д. Шут разит своей Системой.
2. Шут атакует сильных и защищает слабых, но и слабым не дает садиться себе на шею, держит на расстоянии и в уважении к себе.
3. Шут ни за что не может себе позволить выглядеть смешным.
4. Шут никогда не вызывает на шутэ противника, о котором не имеет представления. До тех пор, пока Шут не нащупает у него болевых точек, он лишь ставит блоки и уворачивается от ударов.

5. Шут никогда не врет. Сила его в том, что он всегда говорит правду. Воистину нет ничего больше Правды.

6. Исследуя своего противника, Шут относится к нему как к самому близкому человеку. Лишь тогда он может увидеть его болевые точки.

7. Шут помнит, что у шутовства есть два врага: импровизатор, который не является исследователем, и исследователь, который не способен к импровизации.

8. Шут всегда совершенно спокоен, на худой конец – внешне.

9. Шут не произносит без нужды ни слова. Он понимает, что каждое необдуманное слово для него все равно что для борца неловкое движение: он и опомниться не успеет, как его швырнут на землю неожиданным приемом.

10. Шут умеет терпеть поражение.

Ведь знает шут, наученный судьбой: Приносит радость выигранный бой, Но даже поражение порой Нельзя считать проигранной игрой.

11. Шут хранит свою Тайну, Тайну Шута. Шут, про которого все знают, что он – Шут, не Шут, а жалкий паяц, «из тех, кто оборачивается».⁶

12. Шут не приручает никого и себя не дает приручить. Маленький Принц не вернулся на свою планету, а покончил жизнь самоубийством, когда понял, что не может жить ни с Розой без Лиса, ни с Лисом без Розы. «Зорко лишь одинокое сердце».

13. Шут всегда помнит, что самый опасный его противник – он сам.

Вот такая Система была у Шута.

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что Шут ее хоть и выработал, но, увы, не всегда мог применить.

Однажды, когда Шуту было уже пять лет, а Валя Тряпишников заканчивал восьмой класс, в темном переулке Шуту преградили дорогу двое восемнадцатилетних парней. Специально ли они караулили Шута по наущению одной из высмеянных им жертв или просто решили безнаказанно поиздеваться над слабым и одиноким, но только по одному их виду Шут понял, что Система его не сработает, что никаким изощренным «исследованием» и никаким хитрым «шутэном» ему не отвратить мордобития, а посему, не дожидаясь, пока его ударят, Шут отпрыгнул назад, схватил с земли попавшийся ему на глаза обрезок металлической трубы и, вращая им над головой, с диким торжествующим воплем ринулся на противников.

Проанализировав впоследствии свой поступок, Шут удивился ему, однако не нашел его противоречащим Системе и даже принял его на вооружение, так сказать, на самый крайний случай. В тот же день в «Дневнике Шута» была сделана следующая запись:

«Между прочим, некоторые монахи, проповедовавшие непротивление злу насилием и полное отрешение от мира, в совершенстве владели каратэ и, случалось, применяли его к тем наглецам, которые мешали им отрешаться и непротивляться» (т. 2, с. 34).

⁶ В другом месте «Дневника» мы встречаем следующую притчу, сочиненную или заимствованную Шутом: «Некто, увидев на дворе людей в колпаках с колокольчиками, спросил Шута: «Это странствующие шуты?» Шут ответил: «Нет». «Откуда тебе известно?» – спросил Некто. «Давай проверим, – ответил Шут и закричал: – Эй, Шут!» На звук его голоса все они, как один, обернулись и посмотрели на Шута. «Ну, – сказал Шут, – я же говорил! Настоящий Шут никогда бы не обернулся» (т. 1, с. 13).

Глава IV ШУТ ЗАСТУПАЕТСЯ

Однажды Шута спросили: «Кем ты хочешь быть, Валя, когда вырастешь?» – «Детским психиатром», – ответил Шут. «Но почему детским?» – удивился Спрашивающий. Шут рассердился на него и сказал со злостью: «Дурацкий вопрос! Они же самые чуткие и самые беззащитные!» (т. 2, с. 29).

Этому было, пожалуй, труднее всего научиться: сдерживать себя, когда вдруг словно отключалось сознание, мутнело перед глазами и кровь так сильно стучала в ушах, что заглушала все другие звуки; когда ярость становилась нестерпимой и требовала тотчас же дать ей волю. Но именно этого Шут не мог себе позволить. Утратив контроль над собой, он перестал бы быть Шутом и не только не сумел бы заступиться за других, но и сам стал бы уязвимым. Помните случай с котенком?

Но какого труда, какой безжалостной борьбы с самим собой, какого самоотверженного напряжения воли в моменты приступов ярости стоила Шуту его выдержка. Обретя ее, он смог наконец записать в своем «Дневнике»:

«Меха раздувают пылающий горн,
На наковальне куется меч.
Это та же сталь, что и вначале,
Но как изменилось ее острие!»

(т. 7, с. 150).

Когда в седьмом классе Костя Малышев перед Новым годом преподнес литераторше Ирине Семеновне поздравительную телеграмму и та отвергла ее, Шут едва сдержался, закрыл глаза и заставил себя считать до тысячи, чтобы не броситься к доске, не наговорить гадостей Ирине Семеновне, не схватить с ее стола аккуратную стопку карточек с изречениями великих литераторов о добре, красоте и человеколюбии, которые она имела обыкновение зачитывать на уроке, и не разбросать их по классу или изорвать в мелкие клочки.

Откуда в нем такая злоба? Ведь случай был самый заурядный. Никто и не придал ему значения – ни ребята, ни тем более сама Ирина Семеновна. Может быть, потому, что они ничего не знали, а Шут знал все.

Знал, что Костя Малышев был влюблен в Ирину Семеновну. Да, этот пухлый и рыхлый тринадцатилетний великан на тоненьких ножках, смешной и несуразный в своих телодвижениях, красневший от каждого своего шага и вздрагивавший от любого к себе обращения, даже самого приветливого... Да, он, Костя Малышев, был влюблен в Ирину Семеновну, молоденькую, хорошенькую, как дорогая заграничная кукла, которая строила глазки всем учителям-мужчинам моложе сорока лет и была уверена в том, что Пушкин «перешел на прозу потому, что выдохся в поэзии». Как она с таким убеждением могла преподавать литературу?... Но это к нашему рассказу прямого отношения не имеет.

Тем более, что и портрет Ирины Семеновны принадлежит не Шуту, а автору настоящего критического исследования.

Отца у Кости не было. Жил он с матерью, которая работала телеграфисткой на почте. За несколько дней до того злополучного события он попросил маму напечатать на выбранном им самим бланке поздравление его любимой учительнице:

«Дорогая Ирина Семеновна! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни. Константин Малышев».

Ничего особенного – типичный штамп наших поздравлений. Но надо было видеть Костю Малышева в тот день, когда он пришел в школу со своим поздравлением! Литература была последним уроком, но уже с первого (какого, сейчас не представляется возможным восстановить, а «Дневник Шута» на этот счет умалчивает) Костя был сам не свой. Во-первых, он непрестанно улыбался; до этого никто не видел его улыбающимся. Во-вторых, во время перемены, когда Толька Барахолкин по своему обыкновению щелкнул Малышева сзади линейкой по голове, Костя вдруг быстро обернулся, с неожиданной для него ловкостью схватил Тольку за шиворот, поднял его в воздух и сказал:

– Ну что же это такое! Почему ты все время ко мне пристаешь? Прямо как муха какая-то назойливая!

В-третьих, он до того разошелся, что на одном из уроков получил замечание от учителя за шумное ерзанье на парте. Сроду такого не было, чтобы Малышева просили вести себя потише.

Но незадолго до последнего урока, литературы, Костя снова стал самим собой: испуганным, смешным переростком. И лишь где-то в самой глубине его бесцветных, слегка навывкате глаз светилась радость, такая же всепоглощающая и неумная, как и страх, с которым она была перемешана.

Впрочем, кроме Шута, радость эту в Косте наверняка никто не заметил.

Когда Ирина Семеновна вошла в класс и села, Костя неуклюже и порывисто вскочил со своего места и ринулся к Ирине Семеновне, сшибая тучным телом учебники и тетрадки с парт. Перед учительским столом Малышев резко затормозил, потом попятился назад, чуть не отдавив руку одной из девочек, которая в это время поднимала с пола свои упавшие учебники, потом снова качнулся к учительскому столу.

– Чего тебе, Малышев? – удивленно подняла кукольное личико Ирина Семеновна.

– Да я... Так сказать... в общем я... вот! – промычал Костя, извлек из-за спины свое поздравление и протянул его Ирине Семеновне, вернее, чуть ли не ткнул ей в лицо.

Ирина Семеновна кончиками наманикюренных пальцев взяла поздравление, молча развернула его, прочла, зачем-то взяв в руки красный карандаш, потом закрыла и, постучав карандашом по открытке, спокойно и назидательно, дабы все в классе обратили внимание на ее слова, произнесла:

– Знаешь, как мы с тобой договоримся, Малышев? Вот когда ты исправишь все свои двойки по литературе, тогда и будешь меня поздравлять.

Все правильно – у Кости по литературе было много двоек. Ему даже в четверти Ирина Семеновна собиралась выставить двойку: разве заслуживал хорошей оценки тот, кто не только не мог прочесть наизусть стихотворение или раскрыть образ литературного героя, но даже имя свое выговаривал с трудом. «Кость» – это сдавленно-хриплое получали в ответ те, кто пытался узнать у Кости Малышева его имя собственное.

Что было дальше, Шут не видел. Когда он завершил схватку с собственной яростью, Костя уже сидел за партой, а посмотреть в его сторону Шут не осмелился. Позже в «Дневнике» он записал:

«Однажды в детстве, увидев на дороге раздавленную собаку... Бедный Знающий Муравьев!⁷ Не мог Шут смотреть на его обезображенное существо» (т. 4, с. 77).

⁷ Так Шут называет Костю Малышева. Почему так, а не иначе, узнаем дальше.

После урока Шут пошел следом за Малышевым и, спрятавшись за деревом, смотрел на то, как Костя, обхватив руками столб с баскетбольным щитом, плакал на пустыре позади школьного здания. А когда Костя наконец ушел домой, Шут в ярости пнул ногой столб, вернулся в школу, зашел в кабинет литературы и, сев за учительский стол, просидел за ним целый час, не шевелясь, скользя невидящим взглядом по галерее портретов великих литераторов на классной стене...

С Ириной Семеновной Шут расправился на следующий день. Улучил момент, когда в учительской собрались чуть ли не все учителя, зашел туда, держа в руке только что выданный ему дневник с четвертными оценками, и, подойдя к Ирине Семеновне, попросил ее расписаться на одной из страниц, где она месяц, а то и два назад забыла поставить свою подпись. Ирина Семеновна, пребывая в состоянии игривой приподнятости духа, весьма созвучном общей атмосфере радостного оживления, царившего в учительской по поводу окончания занятий и приближения новогодних торжеств, приветливо рассмеялась в ответ на наивную просьбу своего воспитанника – между прочим, отличника, – ласково обняла его за плечи и привлекла к себе.

– Ну, где тут тебе расписаться, горе ты мое, – пошутила она, обменявшись понимающим взглядом с молодым учителем по труду.

В общем, как бы выразился Шут, «противник раскрылся». И тут же последовал удар. Шут проворно высвободился из объятий своей хорошенькой учительницы и, брезгливо скривив лицо и шмыгнув носом, произнес тихо, но слышно на всю учительскую:

– Зачем так прижиматься? Используйте жвачку. Помогает.

У Ирины Семёновны, действительно, было что-то не в порядке с дёснами или с желудком.

И, не дав никому опомниться и сделать ему замечание, быстро вышел из учительской, забрав у растерявшейся Ирины Семеновны свой дневник, – дескать, и подписи ему теперь никакой не надо.

Все было очень точно рассчитано, и своего Шут добился. В доказательство сделанного нами вывода отметим, что после ухода Шута из учительской Ирина Семеновна и минуты там не высидела, собрала вещи и, забыв про праздничный учительский сабантуй, выпорхнула из школы на свежий воздух, где уже дала волю чувствам: плакала, размазывая тушь по щекам, пока бежала через пустырь, на котором накануне рыдал Костя Малышев.

Шут, как и всегда, остался безнаказанным. Когда после каникул он пришел в школу, учителя уже забыли о его проделке, а Ирина Семеновна не только не собиралась мстить ему, но и к доске старалась вызывать как можно реже, а вызвав, спешила поставить ему пятерку.

Пусть не сложится, однако, у читателя впечатление, будто Шут защищал лишь детей от взрослых и будто бы во взрослых видел он основных противников. Бывало и наоборот. Однажды, например, какой-то ученик наследил в раздевалке грязными башмаками и вдобавок нагрубил уборщице, заявив в ответ на ее справедливое замечание: «Подумаешь! Вытрете! Куда вы денетесь!» Присутствовавший при сем Шут пошел следом за грубияном, дождался, пока тот поднимется на четвертый этаж, вырвал у него из рук портфель, открыл его и высыпал все содержимое в пролет между перилами, а на негодование владельца портфеля ответил с улыбкой:

– Подумаешь! Спустишься вниз и соберешь! Куда ты денешься!

Случалось, что защищал он своих сверстников от сверстников же. Так, «покарал шут-эном» одну из одноклассниц, которую случайно застал за чтением вслух подружкам «любовного послания»; автор послания Шуту был неизвестен, но глумление над чувствами человеческими, коллективное осмеяние сугубо личного не могли не тронуть в Шуте мстительную струнку.

Кстати сказать, этим своим «шутэном» Шут гордился, так как несколько раз упоминает о нем в «Дневнике» и везде с несвойственной ему ласковой уменьшительностью: «музыкальный шутэнчик», «шутэн-игрушечка», «прелестная вещица, изящно сыгранная» и т. п. Увы, само описание «шутэна» в «Дневнике» отсутствует, но по отрывочным упоминаниям все же можно в целом воссоздать картину.

Была у девчонки, смеявшейся над посланием, какая-то прежде любимая песня, с чем-то личным и, видимо, грустным связанная; в жизни каждого человека бывает такая, *своя* песня. Как удалось Шуту выведать про нее – не знаем, но именно на ней, этой песне, и строился «момент шутэ». В день рождения девчонки, в самый разгар веселья эта песня, всеми силами гонимая и уже почти забытая, неожиданно зазвучала на полную громкость, беря старые раны, воскрешая старательно захороненное и каждым новым своим щемяще знакомым аккордом разрывая душу...

Так Шут заступался за униженных и оскорбленных. Им, правда, от его «заступничества» легче не становилось – ни Косте Малышеву, в одиночестве оплакивавшему свою обиду на пустыре; ни уборщице, подтиравшей грязь за невежей; ни тем более автору любовного послания, даже о существовании Шута не подозревавшем...

Обрати свое внимание на эту деталь, читатель! Нам она еще пригодится...

Глава V РОДИТЕЛИ ШУТА

Однажды Шута спросили: «Как поживают твои родители?» – «Родители? – смеялся Шут. Потом добавил серьезно: – Странствующие всегда бездомны» (т. 2, с. 46).

Невразумительный ответ. Тем более что родители у Вали были, и хорошие.

Начнем с того, что Валины родители были людьми образованными и высококультурными.

Отец работал в одном научно-исследовательском учреждении, где изучал культуру народов Древнего Востока – главным образом Китая и Японии; помимо китайского и японского языков, владел еще английским и немецким; за границу, правда, выезжал всего один раз, но знал и умел рассказывать о жизни зарубежных стран, в том числе самых отдаленных, значительно лучше, чем те, которые в них бывали; вообще эрудиции был широченной, знаком был и с техническими науками, мог собственноручно собрать радиоприемник и магнитофон, неплохо играл на скрипке, красиво катался на горных лыжах. Его жизненный уклад являл собой образец максимальной внутренней дисциплинированности и бережного отношения к свободному времени. Работал Валин отец много, увлеченно, но ежедневно, возвращаясь с работы, по часу музицировал на скрипке, каждое воскресенье по три, по четыре часа играл в волейбол или в футбол, не пропускал ни одной интересной выставки и заслуживающей внимания театральной или кинематографической новинки и каждую весну ездил на Кавказ кататься на лыжах.

Жена его, Валина мама, была под стать мужу: преподавала японский язык в высшем учебном заведении, как белка в колесе вращалась в гуще культурной и общественной жизни – что называется, не вылезала из концертов и профсобраний (она была председателем местного) – и в отличие от своих подруг и сослуживиц не любила проводить досуг на кухне, в ванне и в других местах общесемейного пользования. Однако хозяйкой была хлебосольной и без всякой домработницы и прочей посторонней помощи, которых никогда у Тряпишниковых не было, содержала квартиру в чистоте и образцовом порядке.

Впрочем, муж и сын в этом ей немало помогали. Бытовые обязанности в семействе Тряпишниковых были распределены, как в муравейнике, то есть изначально и настолько прочно, что выполнялись почти бессознательно. Первоклассник Валя, возвращаясь домой из школы, мог думать о чем угодно и пребывать в любом настроении, но органически не мог пройти мимо булочной, не купив ежедневного семейного рациона – батона белого хлеба и половинки черного. Равным образом не мог он встать из-за стола, не вымыв всю посуду, или лечь спать, не прибрав в квартире. Как на диковину смотрел он на женщин, моющих посуду или подметающих пол (в семье Тряпишниковых это делал только Валя), или по выходным дням готовящих обед (в субботу и воскресенье приготовлением пищи занимался только Валин отец).

Строгий и Милостивая⁸ не только с малолетства приучили Валю к домашнему труду, но всячески развивали его духовные и физические задатки: прирастили к чтению (в четыре года Валя уже умел читать, а к двенадцати годам ознакомился едва ли не со всей отцовской библиотекой, богатой, но по понятной причине с преобладанием образцов восточной словесности, некоторые из них – главным образом древние сказки и легенды – Валя знал наизусть); к музыке (в пять лет Валю уже брали на концерты классической музыки); к спорту (с четырех

⁸ То есть родители (по терминологии Шута).

лет Валя участвовал в краткосрочных туристических походах, а в семь отправился вдвоем с отцом на Кавказ, где был поставлен на горные лыжи).

Ежедневно, как бы заняты ни были старшие Тряпишниковы, в семействе устраивался так называемый «шведский час»: откладывались в сторону срочные и несрочные дела, все члены семейства располагались друг против друга (чаще за ужином в кухне, но случалось в иной обстановке, например в креслах в гостиной под тихую музыку) и «общались», то есть обсуждали различные житейские проблемы, делились впечатлениями, строили планы на будущее. Причем в самой непринужденной атмосфере: отец мог, скажем, просматривать газеты, мать – вязать или проверять тетради с иероглифами, а Валя – сортировать марки по альбомам или что-нибудь еще. Этот «шведский час» был введен в семействе Тряпишниковых сразу после того, как отец вернулся из единственной своей заграничной командировки в Швецию. Почему в Швецию, когда всю жизнь занимался Востоком?.. Но это к нашему рассказу уже не относится.

В довершение рисуемой картины скажем несколько слов о квартире Тряпишниковых, ибо одно ее описание, как представляется, уже передает атмосферу, в которой родился и рос Валя. Письменный стол со стулом и стеллажи в три стены до потолка (в кабинете), тахта, три кресла и журнальный столик (в гостиной), стол со стулом и диван (в Валиной комнате) – вот, пожалуй, и вся меблировка. Никаких сервантов, комодов, «стенок» и «горок». Весь домашний скраб у Тряпишниковых хранился на антресолях и в просторных стеновых шкафах, созданных по чертежам старшего Тряпишникова и, за исключением отдельных деталей, его же собственными руками, в том числе складной стол для приема гостей и складные же стулья. Даже телевизор был портативным, держался в стенном шкафу и вынимался из него в редчайших случаях, когда Валин отец обнаруживал в телепрограмме передачу, по его мнению, «действительно заслуживающую просмотра». Зато половину Валиной комнаты занимали различные спортивные снаряды: «шведская стенка», перекладина, кольца, станок для упражнений на растяжку мышц, набор гантелей и эспандеров. Зато в гостиной Валя мог – при желании и, разумеется, без ущерба для занятий родителей – играть в «мини-теннис», ударяя портативной ракеткой по мячику, притягиваемому на резинке к лежащему на полу грузу, – единственный «сувенир», который привез из Швеции отец, затратив почти все командировочные на покупку востоковедческой литературы...

Прекрасная семья и прекрасная обстановка! А потому удивительно читать в «Дневнике Шута» следующие записи:

«Вот бы достать где-нибудь старый глупый комод со множеством ящичков и большим зеркалом, водрузить этот комод на самую середину гостиной, покрыв его разными там кружевными полотенцами, рушничками и другой вышитой безвкусицей, а также слониками, шкатулочками и балеринками так, чтобы места на нем живого не осталось, а потом полюбоваться, какие лица будут у отца и матери – особенно у отца! – когда они придут домой и увидят в своей образцово-показательной гостиной эдакое чудовище. Вот было бы здорово!» (т. 8, с. 191).

Странная запись. А вот еще одна, не менее странная:

«Когда ученик пришел к учителю, тот сидел за бумажной ширмой...

Чудак, он вступился за котенка, и ему надрали уши. Он ничего еще не понимал в этом мире, и поэтому ему было больно и страшно. Он не выдержал и зашел в кабинет к отцу, когда тот играл на скрипке. Он искал Ответа на Вопрос, но и рта не успел открыть, как его прогнали.

Лучше бы его ударили смычком по лицу. Лучше бы его пнули ногой. Но ему сказали: «За ужином обо всем поговорим. А сейчас не мешай. Ты видишь, я играю на скрипке».

За ужином?.. Глупый человек однажды уронил свой меч за борт и тщательно пометил борт, чтобы показать капитану, где следует искать, не понимая, что корабль движется» (т. 5, с. 100).

Но, пожалуй, самой странной и самой нелепой записью следует считать вот такую:

«И тут Шут вдруг вспомнил, как звали эту женщину – Зина. Вале тогда было всего пять лет. Отец брал его гулять в лес, и всякий раз на поляне возле качелей их ждала эта Зина. Отец заставлял называть ее то тетей Леной, то тетей Ирой, то тетей Олей, но она была Зиной, и даже пятилетний Валя понял, что это ее настоящее имя.

Теперь понятно, почему Шут ни разу не видел, чтобы отец поцеловал мать. Теперь понятно, почему каждое лето отец на две недели уезжал на юг, но никогда не брал с собой ни мамы, ни Вали. Теперь понятно даже то, почему отец с матерью ни разу не сказали друг другу грубого слова. Но зачем же тогда жить вместе?

Если бы Шута спросили, чем человек отличается от животного, Шут бы ответил – лицемерием. Все остальное есть и у животных.

Река течет тысячи миль на север. Затем поворачивает на восток и течет непрерывно. Неважно, как она изгибается и поворачивает, Важно, что ее питает горный источник.

Нет ничего страшнее лицемерия!

Даже жестокость!» (т. 13, с. 298).

Впрочем, как мы уже предупреждали читателя в самом начале, многое в «Дневнике Шута» преувеличено, и не следует целиком ему доверяться. А посему вывод наш останется неизменным: у Вали родители были, и хорошие.

Глава VI ДРУЗЬЯ ШУТА

Однажды у Шута спросили: «У тебя много друзей?» – «У меня нет друзей», – ответил Шут. «Неужели и правда у тебя нет ни одного друга?» – удивился Спрашивающий. «Кто тебе это сказал? У меня есть друзья!» – ответил Шут (т. 11, с. 254).

Предвидим недоумение читателя по поводу этого диалога, равно как закономерный вопрос: так как же все-таки, были у Шута друзья или их не было?

Однако, прежде чем разъяснить это обстоятельство, предложим вниманию читателя две записи из «Дневника Шута».

Например, вот эту:

«Кто способен дружить без мысли о дружбе? Кто способен быть искренним, не зная, что это верность? Кто способен понимать, не спрашивая, и любить, не говоря?.. Это и называется дружбой двух людей» (т. 9, с. 199).

А вот еще одна, по нашему мнению, более доступная:

«Когда-то Шут считал своим другом одного человека. Всё делали вместе: вместе ходили в школу, вместе готовили уроки, клялись друг другу в дружбе. А оказалось – и не друг вовсе. Совсем чужой человек!.. Можно себе представить глупое, сонное лицо Шута, когда он понял, что его предали... Настоящей дружбе не нужны клятвы на каплях крови. На старом сливовом дереве в цвету южная ветвь так же обладает весной, как и северная» (т. 11, с. 253).

Для тех же, кто и теперь ничего не понял, разъясним.

Все правильно ответил Шут: у него не было друзей, и в то же время они у него были. Вернее, это Шут считал их своими друзьями, тянулся к ним душой, радовался, когда открывал в них новые для себя качества, гордился ими и знал, как самых близких своих. Они же и не подозревали о том, что они – друзья Шута.

Одним из таких «друзей» был его товарищ «по кисти и туши»,⁹ уже знакомый нам Костя Малышев. Что именно привлекло Шута в Косте, какую такую родственную себе душу мог он обнаружить в этом затравленном переростке, неуклюжей туше на тоненьких ножках? На этот вопрос, поди, и сам Шут не смог бы ответить. Но, видимо, привлекло, и, наверно, обнаружил.

Шут несколько раз бывал у него дома, причем всегда заходил под каким-нибудь сторонним предлогом: то задание забыл записать и, случайно проходя мимо Костиного дома, решил зайти и осведомиться; то книжка какая-нибудь ему была нужна, которой якобы ни у кого из знакомых, кроме Кости, не было; а однажды просто попросил дать ему напиться и, выпив три стакана воды, тут же ушел. Но чаще, придя к Малышеву, просиживал у него несколько часов, как правило, молча, задумчиво листая книгу или разглядывая квартиру, и уходил с таким видом, точно сам не понимал, зачем приходил.

Но решительно все знал о Косте, в частности о страстном увлечении Малышева. В школе Костя по биологии с трудом выкарабкивался на тройку. Но о муравьях знал решительно все. Мог безошибочно отличить муравья-листореза от муравья-древоточца, муравья-рабовладельца от муравья-фаэтончика, серого лесного от волосистого лесного, остробрюхого от краснощекого, прыткого степного от черного садового и всех их друг от друга. Знал их латинские названия, а также такие мирмекологические¹⁰ термины, которые в устах

⁹ То есть соученик.

¹⁰ То есть используемые мирмекологией – наукой о муравьях.

четырнадцати-пятнадцатилетнего подростка звучали весьма странно, а тем более при Костином-то косноязычии: моногиния, трофиллакис, динамическая плотность особей, иерархия функциональных групп и т. п. Был хорошо знаком с именами ученых, их работами и иногда позволял себе, например, такие заявления: «Нет, Шовен, в общем-то, конечно, не прав. Он, видите ли, считает: муравей, так сказать, почти как автомат, то есть опять-таки запрограммирован семьей для любой точки. Чепуха! Семья, в общем, никак не может дать ему, так сказать, полную программу действий. Ни в гнезде, ни на участке. Понимаешь, из опытов видно». При этом всегда приводил имена тех, кто ставил эти опыты, и принимался описывать их.

Однажды Костя целую неделю не показывался в школе. Через неделю явился без какого-либо письменного оправдания своего отсутствия и тотчас же был направлен к директору. Однако ни директор, ни Костина мать, вызванная на следующий день в школу, так и не добились от Кости вразумительных объяснений его прогула. Лишь Шуту он потом признался, хоть тот и не спрашивал ни о чем: «Понимаешь, муравьи переселялись. Никак не мог пропустить». Оказалось, что в ту неделю в одном из муравейников в лесопарке, расположенном неподалеку от Костиного дома, происходило «образование отводка, то есть почкование, в общем, целостность семьи была под угрозой, и, так сказать, проводилось деление общины...» Думается, что никакой силы, наверно, не хватило бы, чтобы оторвать Костю от березы, под которой все это творилось, и притащить его в школу.

Несколько раз Шут возникал рядом с Малышевым в момент, когда тот ставил свои эксперименты над муравьями, молча и мрачно наблюдал за тем, как Малышев в резиновых перчатках метит муравьев, баррикадирует «кормовые дороги», а потом исчезал так же неожиданно, как появлялся.

Однажды, заметив у себя за спиной Шута, Костя прервал эксперимент, подошел к Шуту и, зачем-то, толкнув его кулаком в живот, спросил испуганно, но с затаенной надеждой:

– Тебе интересно?... Значит, и ты... Ты любишь муравьев?

– Вот еще! – криво усмехнулся Шут и ушел. Причем так грубо это произнес и так стремительно удалился, что у Кости пропала всякая охота продолжать опыт, и он побрел домой, забыв у муравейника резиновые перчатки.

Зачем Шут так поступил с Малышевым? В «Дневнике» мы находим следующее объяснение:

«У комнатных птиц на ногах красные веревки. Но, несмотря на свою красоту, это все-таки веревки. Шут не может быть привязан и поэтому рвет все веревки!..» (т. 11, с. 259).

Был у Шута и другой «друг» – Сергей Жуковин, или Сосед с Запада, как называет его в своем «Дневнике» Шут. Жуковин был на три года старше Шута. Он уже окончил школу, год проработал на заводе.

«Дружить» с Жуковиним Шуту было проще, чем с Малышевым. Во-первых, жили они в одном доме, а во-вторых, Сергей постоянно был на виду, так как в свободное время ни минуты не мог сидеть без дела, такого, которое принято называть общественно полезным.

Полгода, например, потратил на то, чтобы выстроить во дворе дома детский городок. Настойчивостью своей, а пуще заразительностью идеи «пробил» через ЖЭК необходимые строительные материалы и почти без посторонней помощи создал нечто, о чем потом даже писали в газетах и показывали по телевидению. Чего там только не было, в его «сказке, ставшей былью», как назвали ее журналисты: и избушка на курьих ножках, и терем-теремок, и голова сказочного витязя, и даже русалка на ветвях сидела. Причем каждая конструкция выполняла не только воспитательно-эстетическую, но и утилитарную функцию: избушка на курьих ножках вращалась вокруг своей оси и служила каруселью, теремок в непогоду мог

вместить в себя с десятков ребят, изо рта Головы спускалась горка, а к русалке крепились качели. И во всем чувствовалась, как бы выразился Шут, «высокая рука».¹¹

Другой пример. Дом, в котором жили Шут с Жуковиным, стоял на косогоре. В дождливое время и в гололедицу этот косогор превращался в неприступный вал Старого Изборска, и шедшим с остановки приходилось делать большой крюк, чтобы обойти косогор стороной и добраться до своего жилища. Те же, кто вопреки рассудительности выбирал кратчайший путь, случалось, расплачивались за свою дерзость: падали в грязь, растягивали суставы, а одна пожилая женщина даже сломала себе ногу. Сколько ни обращались в ЖЭК и прочие инстанции, сколько ни упрашивали, ни взывали, ни ругались – твердыня оставалась неприступной. Пока однажды один «удалившийся в тень рощи»¹² в сердцах не обрушил на Жуковина гроздь, в общем-то, справедливого, но неправильно адресованного гнева: вот ты тут, дескать, в бирюльки играешься, а люди там ноги себе ломают – Сергей в этот период трудился по вечерам и выходным – над детским городком.

На старика он не обиделся, даже, кажется, не ответил на его замечание, но через три дня на косогоре появилась широкая деревянная лестница, крашенная масляной краской и с перилами по бокам. На шумные восторги благодарной общественности Жуковин лишь вздыхал и оправдывался: «Жаль, что с бетоном не вышло. Прочнее была бы».

Безотказный парень. Колесо у коляски отвалится – вмиг приладит, замок сломался – какие проблемы, свет в квартире перегорел – да будет свет! Причем брался за любое предложенное ему дело с такой охотой (будто от скуки изнывал, и вдруг подвернулась ему счастливая возможность занять себя), что мало-помалу все в доме, даже совершенно незнакомые Сергею люди, в критической ситуации только к нему стали обращаться за помощью.

Шут часами мог наблюдать из окна за тем, как Сергей работает во дворе, коренастый, проворный, с сигаретой в зубах...

Кстати о сигарете. К куреву Жуковин пристрастился лет с тринадцати, в семнадцать выкуривал по пачке в день, причем очень любил это занятие. Мастерил себе портсигары, которые в кармане не мешали, а вынутые на свет божий тут же приковывали к себе внимание оригинальным устройством и красивым оформлением, резал мундштуки; чего только не изобретал для своего «маленького грешка»: электрическую сушилку для сигарет, кондиционер для очистки воздуха от дыма, пепельницы с двойным дном, изящнее и удобнее покупных, и т. п.

И вдруг в один день бросил курить, всю свою, можно сказать, уникальную коллекцию табачных изделий раздарил друзьям и просто соседям, а сам с тех пор ни разу не притронулся к сигарете. Как оказалось, врачи категорически запретили курить Серегину отцу, и, чтобы не смущать отца запахом табака, а заодно и поддержать его морально, Сергей тут же распрощался с любимой привычкой.

Узнав об этом решении Жуковина, Шут восхитился его благородством и в тот же день... принял обет молчания. Молчал целую неделю. На недоуменные замечания родителей не реагировал, а в школе появлялся с забинтованным горлом, в первый день написав на доске для учителей, а заодно и для всего класса: «Врачи запретили разговаривать».

Приблизительно в этот период Шут приступил к тому, что он называет «профессиональным оформлением» своей комнаты; очевидно, под впечатлением комнаты-мастерской Жуковина, которую он посетил под каким-то замысловатым предлогом и которая поразила его обилием необходимых для ее хозяина предметов – набором слесарных, токарных, плотницких и прочих инструментов, всяких там миниатюрных верстачков, тисочков и тому подобного – и их чрезвычайно сподручной пространственной организацией. Некото-

¹¹ То есть рука мастера.

¹² То есть, попросту говоря, пенсионер.

рое время спустя комната Шута также приобрела свой «профессиональный» облик. К спортивным снарядам в ней теперь прибавилось множество предметов, настолько разнородных и ничем между собой не связанных, что в этой разнородности и в этом полном отсутствии связи точно имелась какая-то скрытая связь. Позволим себе описать лишь небольшой уголок комнаты, в котором помещался стол Шута.

Под самым потолком прямо на обои был приклеен кусок афиши «Абдулло Кахор. Голос из гроба. Комедия в двух действиях», вокруг которой размещались рисунки человеческого лица, вернее, лишь нижней его части: губы, расплывшиеся в улыбке, сомкнутые в гневе, раскрытые в изумлении, и т. п. Ниже слева висел номерок из гардероба с надписью «головной убор», а справа – металлическая табличка «Осторожно! Злая собака». Под ней фотография Рихтера в Колонном зале, а сбоку от нее на гвозде – мешочек-тыковка для табака, широкий узбекский нож с узкой ручкой и камча. Еще ниже на листе ватманской бумаги крупными красными буквами было написано следующее изречение:

Если столкнешься с Другим внутри себя – убей его. Если столкнешься с Любящим – убей Любящего. Если столкнешься с Учителем – убей Учителя. Если столкнешься с Буддой – убей Будду.

Вместо имени автора к изречению черными буквами было приписано: «Парадокс».

Впрочем, не только Шут пытался подражать своему «другу» Жуковину, но и наоборот. Как вы должны помнить, Шут с раннего детства был приучен к спорту и много времени отводил спортивным упражнениям, в частности, каждое утро независимо от погоды пробегал по пять километров.

Процедура бега была достаточно сложна. Не докучая читателю излишними подробностями, скажем лишь, что к бегу своему Шут относился как к упражнению не просто физическому, а как к средству для воспитания целостности духа и дисциплины мировосприятия. Все этапы дистанции у него были строго регламентированы для этой цели. На подъемах, например, Шут добивался максимального сосредоточения сознания на физической нагрузке и физиологической жизнедеятельности своего организма, как бы обращая все свои органы чувств не вовне, а вовнутрь себя: на работу ног, чтобы чувствовать каждую мышцу; на дыхание, дабы не просто дышать, а как бы видеть, слышать и осязать воздух, заполняющий легкие, – одним словом, добивался полного взаимопроникновения души и тела. На спусках, напротив, стремился, насколько возможно, отделить их друг от друга, бежал, запрокинув голову к небу, не чувствуя под собой ног, точно не бежал по земле, а парил по воздуху навстречу небу, солнцу и ветру.

Несколько раз Шуту случалось пробегать мимо Жуковина, который в хорошую погоду выходил во двор «размяться»: скворечник повесить, изгородь подправить. И видимо, пример оказался заразительным, так как вскорости и Жуковин стал бегать по утрам. Но как: смастерил рюкзак с гнездами, куда намертво крепились детские бутылочки, и каждое утро бежал в поликлинику за молоком, кефиром и творожком для своего новорожденного племянника.

Шуту эта затея с бутылочками показалась любопытной. Целый день он обдумывал ее, а под вечер сделал в своем «Дневнике» следующую запись:

«Каждый вносит свою лепту. Сосед с Запада возделывает землю, чтобы вырастить корзину проса, а Шут ведет жизнь Идеального Исследователя. Оба не тратят времени зря», (т. 13, с. 310).

Глава VII ВРАГИ ШУТА

Врагов у Шута не было. Противников же, надо думать, хватало. Но о них достаточно в других главах.

Глава VIII УЧИТЕЛЬ

На классном собрании обсуждали характеристики ребят, которые собирались вступить в комсомол. Когда дошла очередь до Коровина,¹³ одна из девочек встала и сказала, что его не надо принимать, так как он груб, жесток и так далее. На другой день на школьном дворе состоялась драка – ребята защищали девочку от дружков Коровина. Учитель одобрил поведение заступников и снизил оценку за поведение тем семи ученикам, которые прошли мимо дерущихся, объяснив, что правилами школьного поведения запрещено драться.

Когда Шуту рассказали о поступке Учителя, Шут заметил: «Он выжил из ума», – и положил правую руку на кулак левой, прижатый к груди (т. 14, с. 313)».

Этот самый Учитель играет в нашей истории одну из ключевых ролей, и в то же время знаем мы о нем явно недостаточно. Например, нам не известно ни имя его, ни какой предмет он преподавал. В «Дневнике Шута» на этот счет ни слова.¹⁴

Но вот что пишет сам Шут:

«Учитель был из тех, доброта и ум которых дают больше, чем любая наука» (т. 15, с. 337).

Не ведаем мы и его точного возраста. Шут в своем «Дневнике» пишет, что «Учителю было еще долго до того, когда не колеблются» (т. 13, с. 311).¹⁵

Что бы он, однако, ни преподавал и какое бы имя ни носил, очевидно, что Шуту этот человек был далеко не безразличен. Более того, возьмем на себя смелость утверждать, что отношения между Шутом и Учителем – до кульминационного момента, который будет описан ниже, – сложились чрезвычайные. Шут не только тянулся к Учителю, но и не боялся показать ему это. Для сравнения вспомните «друзей» Шута, за которыми он лишь «наблюдал из укрытия».

С Учителем Шут позволял себе идти намного дальше. Так, в «Дневнике» мы читаем:

«Сегодня Шут провожал Учителя до дому, и Учитель вдруг открыл ему глаза на биологичку. Шут всегда считал ее бесчувственной самодуркой, а она оказалась глубоко несчастной женщиной, потерявшей мужа и сына, погибших друг за другом... Шут был подобен человеку, который, увидев черепаху, спросил: «У всех существ кости покрыты кожей. Почему же у этого существа кожа покрыта костями?» Учитель в ответ снял сандалию и накрыл им черепаху, открыв глупому истину...

Надо будет при случае поцеловать биологичке руку» (т. 14, с. 331).

Шут, оказывается, даже бывал у Учителя в квартире, причем зашел туда по приглашению; ни Косте Малышеву, ни Сергею Жуковину Шут ни за что не позволил бы пригласить себя.

В «Дневнике Шута» в витиеватых выражениях, ему присущих, мы читаем о том, что однажды Шут до позднего вечера просидел у Учителя, беседуя с ним «об абстрактном и отвлеченном» и слушая музыку; что, выйдя от него, чувствовал себя «не переродившись перерожденным», а вернувшись домой, «одетый в оленью шкуру, подпоясанный веревкой,

¹³ Кто это такой, нам не удалось установить.

¹⁴ Сейчас объясним: Шут просто не желал показать, что он гордится поступком Учителя, но одновременно выразил свое преклонение перед Учителем жестом приветствия. Так противоречиво выражали свои чувства персонажи из древних притч и легенд, которыми зачитывался Валя Тряпишников.

¹⁵ То есть далеко до сорока лет.

играл на струнах и пел: «О, какие высокие, высокие, далекие, вечные горы» (т. 15, с. 345–348).¹⁶

Из всего этого заключаем, что Учитель как человек был крайне интересен Шуту, что общение с ним оказывало на Шута сильное духовное воздействие и что культура и интеллект Учителя казались Шуту намного превосходящими культуру и интеллект прочих окружающих.

Иначе как мы объясним себе такую запись, казалось бы, абсолютно для Шута неприемлемую и противоречащую Системе:

«Учитель – именно тот, которому просто невозможно не сделать поклона у дверей и стен.¹⁷ Общаясь с ним, Шут иногда забывает о том, что он – Шут (!)» (т. 15, с. 358).

¹⁶ Образное описание состояния наивысшего вдохновения.

¹⁷ То есть нельзя не стать его учеником.

Глава IX ЛЮБОВЬ ШУТА

«Послушай, Валя, неужели ты никогда не был влюблен?» – спросил у Шута кто-то из родственников. «Я же вас не спрашиваю, какими болезнями вы болели в детстве», – ответил Шут (т. 17, с. 406).

Нам-то доподлинно известно, что Шут был влюблен. Иначе откуда бы в его «Дневнике» взяться, скажем, таким стихам:

«Девушка Бо И
Красой поражала чудесной,
Ей не было равных
В любом уголке поднебесья.
Как полководец,
Владела искусством сраженья,
Вела наступленье
И смело брала в окруженье.
Красавицей класса
Все дружно ее называли,
Прекрасные очи
Сиянье луны затмевали.
Бесчувственный камень
И тот бы склонился пред нею, —
И дрогнул наш Шут,
И попался, благоговей»

(т. 16, с. 369).

Известны нам также имя и фамилия «девушки Бо И» – Ира Богданова. Девушкой она действительно была симпатичной, не красавицей, правда, но симпатичной – точно. Впрочем, не ее миловидность превратила ее в «первую девчонку» класса, а то, как она держала себя. В отличие от большинства своих одноклассниц, по-детски еще угловатых, стеснявшихся своей угловатости и смотревших на мир пугливым глазом новорожденного жеребенка, в ней, в Ире, уже проснулась женщина, привлекательная и самолюбивая. И хоть лет ей было всего пятнадцать – или, как выразился Шут, «только-только достаточно, чтобы сделать прическу», – у нее уже были взрослые поклонники, лет на пять, а то и на шесть старше ее, которые водили ее в студенческие компании, в кафе и театры, на просмотры модных зарубежных фильмов.

Один кавалер – какой-то подающий надежды спортсмен или сын «накрывающих повозку зонтом»¹⁸ – даже заезжал за ней в школу на белых «Жигулях», и уже одно это обстоятельство делало Иру, что называется, недосягаемой для своих сверстниц-девятиклассниц.

Впрочем, к чести ее будет сказано, с поклонниками своими она вела себя на редкость разумно, ничего лишнего им не позволяла, принимала их услуги и ухаживания, но была независима и строга и, чуть что, расставалась с ними не моргнув глазом.

Стоит ли говорить, что все мальчишки были тайно влюблены в нее. Всем она снилась по ночам в самых дерзновенных мальчишеских снах, все замирали в сладостной тоске при

¹⁸ То есть принадлежащих к зажиточному кругу

звук Ириного голоса, к ним обращенного, все украдкой поглядывали на нее на уроках и тому подобное, наверняка, хорошо знакомое читателю.

Все, кроме Шута. По крайней мере, в своем «Дневнике» Шут отмечает, что до определенного момента он относился к Ире как к «оболочке из кожи, налитой кровью и набитой костями».¹⁹

А вот, читатель, история любви Шута в том виде, в котором она дается в «Дневнике»; Шут называет ее «лисьим наваждением».

Однажды, когда Шут уходил из школы, к нему вдруг подошла Ира и сказала, пренебрежительно улыбаясь:

– Валенька, понеси-ка мой портфельчик.

Шут остановился, нахмурил брови и, внимательно оглядев Иру с головы до ног, точно впервые ее видел, произнес:

– Откуда ты такая пришла, красавица?

– А ты проводи меня до дому. Глядишь, и узнаешь, откуда я, такая, пришла, – ничуть не смутившись, ответила Ира.

– Я ожидал ответа, подобного скачущей лошади, а получил ответ, подобный ползущей черепахе, – проворчал себе под нос Шут и, пожав плечами, пошел своей дорогой.

А так как диалог этот состоялся на глазах у Ириных подружек, вслед за ней вышедших на школьный двор, то Ира возьми и объяви этим зрителям: «Ничего, девочки! Последнее слово будет за мной».

Девушкой она была далеко не глупой, умела трезво оценивать свои силы, а потому, хоть и горела желанием поскорее выполнить обещанное, но подавила в себе нетерпение. Стала нежна и ласкова с Шутом, искала с ним контакта, но не выглядела нарочитой, сносила его угрюмые взгляды и колкие реплики, но не заискивала и не теряла достоинства. Естественна была и терпелива и как-то особенно одухотворена. И вот эдак, постепенно, осторожно, но, неуклонно опутывая Шута ласковыми чарами, добилась своего: Шут нарушил правила игры, в которую играл с самого своего рождения, «раскрылся» перед противником, потерял устойчивость боевой стойки и вышел из состояния постоянной боеготовности... Да, влюбился, если так вам будет понятнее!

Уже через неделю он записал в своем «Дневнике»:

«Она была прекрасна, как лотос, розовеющий в каплях росы.

Ласково и еле заметно улыбалась она Шуту, и красота ее милого лица хотела как будто выйти за пределы возможного» (т. 16, с. 362).

А еще через неделю он пригласил ее к себе домой после школы – никто из одноклассников ни разу не был у него дома, – усадил у себя в комнате на диван и целый час пел ей под гитару свои песни, которые никогда никому не пел, в том числе свою любимую. Вот эту:

Снег за полог проник –
Он ворвался, исполненный злобы.
За решеткой окна
Занавески вздымаются вдруг.
Снежный яростен вихрь,
Намело, словно горы, сугробы.
Все укрыл белый снег,
Застонал, закачался бамбук.
Все, что было, напаялил
Солдат под холодные латы.

¹⁹ Древнее уничижительное описание женщины.

Как и здесь,
На границе бушует метель.
А сынки богачей
Поднимают тяжелые кубки,
И красавицы уголь несут
Для пылающих жаром печей.

Странные вещи стали происходить с Шутом. Сумрачность и настороженность его исчезли: Шут теперь как бы светился изнутри радостью и любовью. Кроме «розовеющего в каплях росы лотоса», он уже никого и ничего не замечал вокруг себя.

Не видел он, что и отношение к нему в классе стало постепенно меняться: сначала все растерялись, но мало-помалу свыклись, оправились от изумления, и кое-кто из самых смелых даже попытался тихонько ущипнуть Шута, так сказать, эксперимента чистого ради. А поскольку на щипки эти Шут никак не прореагировал, то разом осмелели даже самые трусливые и накинудились на Шута оравую.

Только Барахолкин строил за спиной Шута глупейшие рожи, подмигивал в сторону Иры Богдановой и прикладывал руку к сердцу. Васька Соболев, он же Митрофанушка, отпускал в адрес Шута двусмысленные замечания на уроках, когда учителя сетовали на рассеянность Тряпишников. Разумовский, то бишь Фамилия, взял за правило хлопать Шута по плечу и с ехидной улыбкой хвалить его: «Растешь на глазах, Валентин! Истинный покоритель сердец!»

Шут же не обращал на них внимания и отвечал им лишь тогда, когда обидчики преграждали ему дорогу. Но как отвечал! Разумовскому, например, кротко заметил: «Что ты хочешь от меня, добрый человек? Оставь меня». А Только Барахолкина погладил по голове и посоветовал: «Не смейся, миленький, над тем, что тебе никогда в жизни не суждено понять».

Что чувствовал Шут в эти дни? Вот что:

«Сердце мечется, как обезьяна, Мысли мчатся бешеным галопом, Пред глазами бабочки мелькают, В голове – пчелиное гуденье. Ночь без сна проходит».

(Из «Дневника Шута», т. 17, с. 401).

Развязка наступила неожиданно. Шут сообщает в своем «Дневнике», что, когда «слепой монах, ведомый лисицей, был уже на краю пропасти, в сердце его шевельнулось сомнение, он схватил лисицу за хвост, а та оскалилась и зашипела голосом оборотня». То есть, разъясняет Шут, «девица Бо И» заманила его к себе и объявила, что Шут ей в высшей степени безразличен, но она поспорила с подругами, что влюбит его в себя, и теперь, когда он стал всеобщим посмешищем, она гонит его прочь. «И тут слепец прозрел», – добавляет автор «Дневника» (т. 17, с. 406).

В «Дневнике» на этот день приходится следующая запись:

«На дворе была осенняя ночь: в высоте небес мерцала Серебряная Река,²⁰ стояла полная луна. Шут гулял в тени цветов и думал о далеком и отвлеченном... Вернувшись домой, Шут написал одну полосу талисманых писем,²¹ которую наклеил на двери и этим отогнал лису» (т. 17, с. 403).

Запись эта нарочито сдержанна. Однако процесс «прозрения» для Шута, надо полагать, был весьма болезненным. Ибо ниже в «Дневнике» обнаруживаем:

²⁰ То есть Млечный Путь.

²¹ Полосу графических заклинаний.

«Понадобилось три месяца в трех горах собирать травы, прежде чем весь лекарственный подбор был полон. Он был из тех, которые дают истощенным и изнуренным насмерть людям, и не бывает случая, чтобы они не оживали»²² (т. 18, с. 410). Вот такая история.

Ознакомившись с ней, мы сперва удивились ее банальности. Потом с горечью подумали: вот ведь как несправедливо иногда случается в жизни. Казалось бы, такая волевая и осторожная натура, как Шут, который близких друзей к себе не подпускал, «рвал все веревки», боясь ущемить свою независимость, с Учителем, перед которым преклонялся, лишь иногда позволял себе забывать о том, что он Шут, и чуть ли не упрекал себя за это. А тут вдруг попался на крючок к самовлюбленной девице, поспорившей на него с подружками. Ну почему так, друзья?! Почему сильные и умные люди сплошь и рядом гордую свою независимость приносят в жертву глупейшим капризам, цельность духовную разменивают на мелкую монету житейской суеты? Почему такие горькие плоды приносит иногда любовь – это самое прекрасное чувство человеческое?!

Подобным патетическим восклицанием мы готовы были заключить настоящую главу, но в последний момент внимание наше было привлечено несколькими, на первый взгляд пустяковыми, несообразностями в «Дневнике Шута».

Ну, скажем, такая деталь: в «Дневнике» мы читаем, что, посетив Шута у него на квартире и прослушав его песни, Ира направилась к своей подружке и там, развалившись в кресле, с улыбочкой на губах рассказывала: «Он ненормальный какой-то. Целых три часа просидела с ним в пустой квартире, а он даже за руку меня ни разу не взял. Пел мне какие-то песенки, по-моему, собственного сочинения. Тоска смертная, чуть не заснула» (т. 18, с. 410).

Во-первых, откуда Шуту в таких подробностях известно, что Ира рассказывала своей подружке? Если со слов этой самой подружки, то где у Шута гарантия, что его не обманули, намеренно выставив Иру в дурном свете и приписав ей то, чего она никогда не говорила? Неожидан и пренебрежительный отзыв Иры о песнях Шута, поскольку многими страницами ранее Шут пишет: «Шут играл ей, а она слушала как завороченная. Они были под стать друг другу своим умением: Шут умением играть, а она умением слушать» (т. 16, с. 380).

Заинтересовавшись, мы подвергли «Дневник Шута» более пристальному анализу и обнаружили накладки посерьезнее. Так, автор «Дневника» утверждает, что, влюбившись в Иру Богданову, Шут, дескать, стал настолько беззащитным, что даже Барахолкин осмелился подтрунивать над ним. В это, честно говоря, трудно поверить, хотя бы потому, что в той же самой части «Дневника», в которой описывается «лисье наваждение», Шут сообщает о довольно-таки агрессивном «шутэне», примененном им к одному из своих одноклассников. За что? А за то, что, случайно встретив на улице Шута вместе с Ирой, он, видите ли, придал своему лицу «непочтительное выражение»! Сообщение это, впрочем, было зачеркнуто Шутом; незачеркнутыми остались лишь некоторые элементы «шутэна», вероятно особо дорогие сердцу автора «Дневника».

А вот еще одна запись, впоследствии также зачеркнутая:

«Она требовала от Шута невозможного. Она говорила: «Вот звезды, смотри на них, они теплые». Шут смотрел на них и ежился от холода – ведь истинный свет всегда холоден... Она говорила: «Вот цветы, понюхай, они чудесно пахнут». Шут нюхал цветы и морщился – ведь по-настоящему прекрасные цветы вырастают лишь у того садовника, который не жалеет на них удобрений... Она говорила: «Вот люди, люби их, они добрые». Шут любил их и страдал от их жестокости... Шут улыбался ее *неопытности*,²³ а она грустила. Она была подобна человеку, стоящему у входа в город, но не замечающему ни городских ворот, ни самого города» (т. 17, с. 391).

²² Нет, лекарств Валя не пил – это лишь метафора.

²³ Курсив наш. – Ю. В.

Можно лишь догадываться, о чем шла речь на самом деле. Ира, вероятно, стремилась смягчить характер Шута, сделать его более уживчивым и открытым. Именно «опытность» Шута, которой он так гордился, пугала Иру. Станным, должно быть, ей казался этот опыт – слышать в аромате цветов запах гнили...

Но повторяем – это пока лишь наши собственные домыслы.

Как бы то ни было, запись оказалась зачеркнутой, а вместо нее в следующей тетради «Дневника» Шут написал:

«Коварная лисица, обернувшись любящей девушкой, попыталась отнять у Шута самое сокровенное. Мало ей было тела Шута, скорбной тенью скользившего за ней, куда бы она ни шла. Она еще хотела завладеть его душой и употребила на это все свое колдовство» (т. 18, с. 411).

А как соотносить с картиной, нарисованной автором «Дневника», такой эпизод (Шут о нем не упоминает, но мы, наведя кое-какие дополнительные справки, выявили его, так сказать, во всей достоверности)?

Однажды – и именно в период «лисьего наваждения» – в школе был организован вечер художественной самодеятельности. Шут выступал на нем со стихами. Он прочел несколько стихотворений, и все они были довольно тоскливыми и пессимистичными по содержанию.

Вот посудите:
В мире много тоски,
Но ничто не сравнится, поверьте,
С тяжелой болью разлук,
С неизбежностью горя и смерти.
Небеса и земля
Необъятны, но тоже не вечны;
Только скорбь и печаль,
Только скорбь и печаль бесконечны.

Сами по себе стихи, возможно, были недурны, но на вечере, посвященном, кстати сказать, какому-то торжественному событию, они прозвучали явно не к месту и весьма озадачили зрителей, настроенных на приподнятый лад и мажорные тональности.

Присутствовавшая на концерте преподаватель истории и обществоведения сочла уместным подать реплику из зала.

– Что это ты, Валя, тоску на нас нагоняешь? Неужели у тебя нет ничего повеселее! – заметила она.

– Пожалуйста, есть у меня и веселое, – пожал плечами Шут и продекламировал:

Напудренное белое лицо,
Румяна на морщинистых щеках,
Уродлив тощий пук ее волос,
А в нем торчат засохшие цветы.
Короткие у кофты рукава,
А туфли широки – не по ноге.
Найти такое чудо мудрено,
В подземном царстве встретится оно.

Зрители засмеялись.

Историчка и бровью не повела, когда Шут прочел эпиграмму. Она никакого намека на себя в стихах не обнаружила и лишь недоумевала по поводу всеобщего оживления; лично ей стишки показались глупыми и бездарными.

– Нехорошо, Валя, – укоризненно покачала головой директриса, впрочем, едва сдерживая улыбку, – она недолюбливала историчку, и Шуту это было известно.

– Но меня же просили повеселее, – обиженно произнес Шут. – Я и прочел из древне-монгольского эпоса.

Зал опять оживился: историчка была раскоса и широкоскула, а учителям имела привычку намекать, что не только она сама, но в некотором роде и древнерусское централизованное государство обязано, дескать, своим появлением на свет монголо-татарскому завоеванию, в результате чего получила прозвище Потомок Чингисхана.

И вдруг на сцену из-за кулисы вышла Ира Богданова.

– Раз тут стали читать из древнемонгольского эпоса, то позвольте и мне прочесть одно стихотворение! Оттуда же! – решительно заявила она и, не дожидаясь разрешения, прочла, с вызовом глядя на Шута, не успевшего уйти со сцены:

Осмеяла лягушку Черепаха морская. Над морской черепахой Вправе гриф посмеяться, – Ибо мир облетел он От края до края. Ты силен – есть сильнее, Ни к чему зазнаваться.

И снова в зале засмеялись. А Шут вдруг весь просиял и с таким восхищением посмотрел на Иру, что та растерялась.

– Что ты так на меня смотришь? Неужели тебе не стыдно? – с досадой воскликнула она.

– Я гляжу на тебя, милая, как глядят на красный пион или на лазурный персик. Хоть всю жизнь смотри – не насытишься, – смеясь, ответил ей Шут. В зале зааплодировали. Большинство зрителей решили, что Шут с Ирой заранее отрепетировали мизансцену.

Увернулся, разумеется, «уколот» слегка и «блокировался». Но в «Дневнике» – ни единой строчки об этом эпизоде. А ведь наверняка вызов, брошенный Ирой со сцены перед переполненным залом, не остался не замеченным для Шута, для «морской черепахи» – то!

Через несколько дней класс отправился в двухдневный турпоход. Шут в нем не участвовал – не явился на вокзал, хотя собирался пойти, а Ира выглядела необычно грустной и озабоченной.

Ну так вот, во время похода Разумовский ни на шаг не отставал от Богдановой, всячески старался развеять ее грусть и заодно обратить на себя внимание. Заметив, однако, всю бесплодность своих усилий, высокомерно надулся и заявил с присущей ему бесцеремонностью:

– Да что вы в нем нашли такого, в этом Тряпишникове? Заурядный невежа!

– Это он-то заурядный невежа?! – набросилась на него Ира неожиданно и озлобленно. – Да вы все ему в подметки не годитесь!.. Сам ты невежа, понял?! И дурак!

Случившиеся поблизости одноклассники и одноклассницы были крайне удивлены этой сцене: никогда Ира Богданова не позволяла себе таких резких выражений, такой несдержанности чувств.

А коли мало тебе, читатель, вот еще одно свидетельство тому, что в действительности произошло «на краю пропасти» между «слепым монахом» и «лисицей-оборотнем».

Не Ира «заманила к себе» Шута, а он сам пришел к ней и, едва переступив порог, презрительно сощурившись, начал:

– Ну что, поиграла со мной, а теперь, что называется, наступает срок «разрыва струн лютни»?

– Нет, Валя. Ничего ты не понял... Это ты все время играешь. А я не могу больше.

– Один чудак не мог ни есть, ни спать: опасался, что небо обрушится, земля развалится и ему нигде будет жить...

– Хватит, Валя! Я же не шучу!.. Пойми, нельзя защищать свое «я», унижая других людей! Они ни в чем перед тобой не виноваты... И я перед тобой не виновата...

– Ах вот, значит, как, добренькая моя! Людей пожалела!.. А меня тебе не жалко? А вдруг, кроме тебя, у меня никого нет на белом свете! Представь себе! Ведь всякое случается в жизни!

– ...Да я же... Мне тоже без тебя... Валь! Но если ты и дальше будешь...

– Обрадовалась пташка и затрепетала крылышками!.. Поздно, сладкая! Проглотила червячка, но вдруг пожалела его и захотела выплюнуть обратно?..

Он сам пришел к Ире и сам ушел, злой и гордый. Но Ира догнала его на улице, схватила за рукав и повернула к себе. Губы у нее дрожали, а в глазах были слезы.

Шут глянул на нее с такой досадой, что она отскочила в сторону и вдруг рассмеялась.

– Да ты что, Тряпишников! – смеясь, объявила она Шуту. – Неужели ты вправду решил, что у нас с тобой серьезно? С ума сошел! Пошутила я над тобой, глупенький! Поспорила с девчонками, что захочу, и прилипнешь ко мне, как банный лист... А теперь все! И катись ты от меня куда подальше! Понял?!

Вот, дорогой читатель, как было на самом-то деле!

Нас же, однако, сейчас интересует не столько фигура Иры Богдановой и ее чувства к Шуту, сколько тот вывод, тот урок, который извлек наш герой из рассказанной нами истории.

В результате «лисьего наваждения», пишет Шут (т. 18, с. 415), он, дескать, лишний раз имел возможность убедиться в справедливости своей Системы и познал меру опасности, подстерегающей тех, кто преступает ее заповеди «в угоду мелким соблазнам и призрачным удовольствиям».

А вот и стихи, которыми автор «Дневника» иллюстрирует свою мысль:

«Советуем людям: Страшитесь погибельной страсти: Попался к ней в сети – Сумеешь ли их разорвать.

Лишь твердые духом
Осилят любые напасти,
Лишь чистые духом
Себя не дадут унижать.
Тот жалок, кого
Безумная страсть ослепила:
Безвольный слепец,
Им командует женщины власть.
Когда бы не Шут,
Не его чудотворная сила —
Попал бы несчастный
В змеиную жадную пасть».

(Из «Дневника Шута», там же)

Глава X БОЛЕЗНЬ ШУТА

Милостивая спросила Шута: «Что с тобой, Валя? Уж не болен ли?» Шут поклонился ей и ответил: «Ветер может задуть пламя свечи, но, когда возникнут благоприятные условия, она снова запылает, давая такой же свет, как и прежде. Разве после этого она не будет тем же самым непрерывным пламенем?» (т. 17, с. 408).

Увы, читатель, Шут был болен, причем болезнь его была из тех коварных и длительных недугов, которые незаметно возникают, незаметно развиваются, а когда человек наконец почувствует, что болен, то уже поздно бывает – ничем не можешь.

Не замечал и Шут, а если и замечал, то, наверное, не желал признаться в том, что болен, и ни строчки о своей болезни не оставил в «Дневнике». Напротив, от последней части «Дневника Шута», последних трех его тетрадей, веет таким оптимизмом, такой уверенностью, так много в них смелых суждений, поучительных легенд и поэтических сравнений!.. Но нас не проведешь!

Болезнь Шута, давно пустившая свои смертоносные струйки, заметно обострилась в результате неудачной любви Шута к Ире Богдановой. Не помог ему и «лекарственный подбор» – напряженнейшее, надо думать, укрощение своих чувств. Исцелившись от любви, от болезни своей Шут не избавился, а, напротив, стал еще более мрачным и замкнутым, еще более ожесточился против людей, так что даже мать – Милостивая – заметила произошедшую в нем перемену. Еще суровее стало сердце Шута, еще тверже рука, и еще ярче запылала свеча его гордыни, но в отблесках ее «непрерывного пламени» вдруг появилось что-то новое, жестокое и болезненное.

Возьмем хотя бы ту поистине варфоломеевскую ночку – «карательный поход», по определению автора «Дневника», – предпринятый им против тех своих одноклассников, которые в период «лисего наваждения» якобы допускали замечания в адрес Шута. Действительно ли были они перед ним виноваты или Шут взвалил на них вину за собственные неудачи – не беремся судить, но расправился он с ними с быстротой и беспощадностью свергнутого, но вернувшего себе власть самодержца.

«Карательным» этим походом дело не ограничилось.

Проведя его, Шут ничуть не умиротворился, не успокоился, а принялся разить направо и налево, огнем и мечом утверждая себя и свою Систему, при этом не отличая правого от виноватого, сильного от слабого и чужого от близкого. И это уже была самая настоящая болезнь, злокачественная и смертельная.

Вот, читатель, краткая, но красноречивая история, История Болезни Шута:

Приступ первый – Шут обижает Костю Малышева.

В «Дневнике» Шут пишет:

«Знающий Муравьев оправдывал данное ему имя: кроме своих муравьев, он ничего не знал и не понимал. Такого человека называют «трехдюймовым школьником». Он читает или слушает, затем говорит, а расстояние от глаз до рта или от ушей до рта равно приблизительно трем дюймам. Видит, например, верблюда и думает, что это у лошади вспухла спина.

Разве может такой человек устоять перед оборотнем или лисой?²⁴

²⁴ Образное обозначение враждебных человеку сил.

Шут сжалился над ним и попытался предостеречь от опасности мудрым изречением. Но Знающий Муравьев ничего не понял. Шуту пришлось ударить его посохом,²⁵ чтобы жизнь не ударила сильнее» (т. 18, с. 421).

В действительности же было так.

С некоторых пор Костя Малышев стал досаждать Шуту. Он все больше к Шуту привязывался, все чаще с ним заговаривал и норовил по поводу и без повода вставить эдакое про муравьев. Однажды, во время очередной «муравьиной проповеди», в которой Малышев доказывал, что муравьи самые умные, самые добрые и бескорыстные из насекомых, что они делятся пищей с голодающими своими братьями, всегда приходят друг другу на помощь и оказывают неоценимую услугу лесу, а значит, и человеку, и так далее, Шут не выдержал, прервал Костю и сказал ему:

– Один человек холил лошадей, выносил навоз в корзинах, чистил конюшню. Но налетели комары и оводы, человек хлопнул коня, а конь, порвав удила, проломил человеку голову и разбил грудь. Разве не нужна осторожность?.. Берегись муравьев!

Естественно, Костя ничего не понял. При чем тут лошади? Да и с какой стати он, Малышев, должен беречься муравьев, когда они, можно сказать, самое ценное в его жизни. К тому же в это время он особенно усердно экспериментировал над ними, переметил чуть ли не все муравейники в лесопарке, их обитателей беспрестанно отлавливал, переселял и пересаживал, а однажды притащил в школу три банки с мечеными муравьями – видимо, намеревался сразу же после уроков продолжить прерванный эксперимент.

Такой оказии Шут уже не мог пропустить. В разгар урока с парты, за которой сидел Малышев, вдруг раздался глухой стон. Все, кто был в классе, разом на него обернулись. Костя сидел красный от напряжения, выпучив глаза и беззвучно шевеля губами. Потом вдруг вскочил, схватил портфель, поставил на парту и, не обращая ни на кого внимания, принялся шарить в нем руками.

Почти тут же пронзительно закричала Костина соседка. Вслед за Малышевым она выскочила из-за парты и принялась колотить себя по коленкам, хлопать по груди и по спине.

– Ой! Меня кусают! – вопила она. – Ой! Муравьи! Нина Ивановна, здесь муравьи! Помогите!

Что тут началось! Дружно и радостно ребята кинулись спасать одноклассницу и, убедившись, что парта, за которой она сидела, равно как и сама девочка, и впрямь была усеяна крупными рыжими муравьями, с воодушевлением принялись истреблять ядовитых насекомых, давили их ногами, били учебниками и тетрадями, гикая, улюлюкая и гогоча от восторга, точно первоклассники.

Увидев это, Костя толкнул парту так, что она отъехала к стене, и, простершись над ней, захрипел в ужасе и отчаянии:

– Прочь, гады! Что вы делаете?! Не дам! Они же меченые! Я же две недели!.. Прочь!

Вопли его на некоторое время остановили ребят, но лишь на столько, сколько им потребовалось, чтобы прийти в себя от хохота, после чего они с утроенным азартом возобновили прерванное занятие, не обращая внимания ни на Костю, ни на тщетно призывавшую к порядку Нину Ивановну. Не помня себя от ярости, Малышев выхватил из портфеля пустую банку и замахнулся ею над головой ближайшего из обидчиков.

Дело наверняка приняло бы трагический оборот, но тут вмешался Шут. До этого мрачно наблюдавший за сценой из своего угла, он одним гигантским прыжком вдруг оказался возле Костиной парты, врезался с разгону в толпу, расчленив ее надвое, и закричал так громко и яростно, что все шарахнулись в сторону, а Костя выронил банку:

²⁵ В древности учитель наказывал нерадивых учеников ударами своего посоха.

– Что вы делаете?! Вы же не муравьев давите, а лучших друзей Малышева! Ведь, кроме них, у него никого больше нет на белом свете! Они самые умные, самые бескорыстные, самые добрые! Они в тысячу раз лучше вас!

Все растерялись, и больше всех Малышев. Мгновение он в ужасе смотрел на Шута, точно не веря ни глазам, ни ушам своим, потом по лицу его пробежала судорога, и, обхватив голову руками, Костя выбежал из класса. Вдогонку ему раздались дружный хохот и гневные окрики Нины Ивановны, призывавшей класс к порядку.

Никто из ребят ничего не понял в произошедшем. Шут же спокойно вернулся на свое место, хмурый и насупленный, точно обиженный на весь мир.

Попробуем теперь сделать «медицинское заключение» (раз уж мы взяли писать «историю болезни» Шута):

Приступ был неожиданным и жестоким. Особенно настораживает тот факт, что ни в момент, ни после приступа Шут никакой боли не испытывал.

Приступ второй – Шут ранит Сергея Жуковина.

Та же картина. В «Дневнике Шута» читаем лишь нечто бесчувственно-поучительное и не отражающее реальной действительности:

«Сосед с Запада жил в мире иллюзий, как мелкий слуга, который суетится в душе и напрасно утруждает тело.

На прощание Шут попытался открыть эту истину Соседу с Запада» (т. 19, с. 433).

На самом же деле произошло следующее:

Осенью Сергея Жуковина призвали в армию. Вечером накануне явки в военкомат, когда Жуковин поднимался к себе домой, на одном из лестничных пролетов внимание его привлекла долговязая фигура, застывшая у окна. Сергей остановился, всмотрелся в стоявшего и узнал в нем одного из своих соседей, диковатого и странноватого паренька, который Жуковину всегда был любопытен и к которому, сам не зная почему, он испытывал симпатию.

Паренек – а это, как вы догадались, был Шут – вдруг повернулся от окна, подошел к Сергею и, не поздоровавшись с ним, заговорил с какой-то странной смесью торжественности и искренней грусти в голосе:

– Они же не понимают и никогда тебя не поймут. Ты полгода строил для них сказку, ты хотел, чтобы они и их дети были счастливы. А они все выходные резались в «козла», с ухмылкой косились в твою сторону и даже крутили пальцем у виска. Я видел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.